



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР-МАРТЕН-МАНСУР

ЧАСТЬ III · ДААНА

ИЛЬЯ КАЛИНИН

18+

Илья Калинин

**Виктор-Мартен-
Мансур. Часть III. Даана**

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор-Мартен-Мансур. Часть III. Даана / И. Калинин —
«Автор», 2026

Джульфар, жемчужный порт на Восточном море. Виктор Скорев пришёл сюда с сотней динаров и тремя именами — и узнал, что хозяин, которого он когда-то выдумал, жив. Под именем купца Малика здесь живёт бывший казначей эмира, с украденной казной и предложением, от которого нельзя отказаться: его деньги, руки Виктора, одно имя на двоих. Берег держится на кабале: ныряльщик должен хозяину лодки всю жизнь, а его долг наследует сын. Виктор людьми не торгует — и потому находит самую прибыльную нишу на берегу. Сто динаров превращаются в тысячи. А потом ныряльщик Малика поднимает со дна даану — жемчужину, какой берег не видел полвека, — и с этого дня умирает каждый, кто её держит. Её хотят шейх, жемчужный король, пираты, убийцы эмира и купец из Азмара. Виктор впервые убивает своей рукой. Два счётчика под одним именем знают, что один спишет другого. Вопрос только в том, кто раньше.

© Калинин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Будем считать	5
Глава 2. Жемчужный берег	11
Глава 3. Сита	17
Глава 4. Первая кровь	23
Глава 5. Долг Марзука	29
Глава 6. Хавала	35
Глава 7. Зима	40
Глава 8. Хаджар	45
Глава 9. Шейх	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Илья Калинин

Виктор-Мартен-Мансур. Часть III. Даана

Глава 1. Будем считать

Я сел.

Он показал на подушку слева от доски, не поднимая глаз от фигур.

— Слева, — сказал он. — Тебе удобнее вытянуть ногу.

Год назад в казне эмира он сказал то же самое. Теми же словами, тем же тихим голосом. Тогда я ещё не знал, кто он такой. Теперь знал. Легче от этого не стало.

Я сел слева и вытянул ногу. Голень ныла после тысячи двухсот шагов вдоль протоки. Мальчишка вёл меня медленно, ровно с моей скоростью. Его этому научили. Значит, хозяин заранее знал и мою скорость.

Хафиз наклонился к лампе и подкрутил фитиль. Свет лёг ему на лицо.

Он похудел. Узкое лицо стало ещё уже, проступили скулы. Борода с проседью была подстрижена коротко и ровно. Под глазами лежали серые тени, как у человека, который полгода спит вполглаза. Указательный и средний пальцы правой руки были чёрными от чернил. Дорога через пески снимает с человека вес, кожу и ногти. Чернила она не снимает.

— Ты похудел, — сказал я.

— Ратм кормит дорого. — Он вернул лампу на подставку. — Ты тоже.

— Меня кормил Сакр. Сакр кормит дешево.

— Знаю. — Он передвинул пешку на одну клетку. — Мои пятеро так и не вернулись. Значит, очень дешево.

Он сказал это без упрёка. Так упоминают расход, который давно списан.

* * *

Комната была прохладной. Градусов двадцать шесть, когда снаружи, у протоки, даже ночью держалось за тридцать. Толстые стены, мокрые циновки на окнах под потолком. Сквозь циновки тянуло илом и белыми цветами из сада, сладкими до тошноты.

Партия на доске шла к середине. У белых не хватало коня и двух пешек, у чёрных — слона и ладьи. На краю доски, на костяной клетке, лежал талер. Я на него не смотрел.

— С кем играешь? — спросил я.

— С собой. С весны. — Он отпил из своей чашки и поставил её. Вторая, чистая, стояла у кофейника. Он к ней не притронулся. — Белые — твои. Я играл за тебя так, как играл бы ты. Получилось плохо. Ты всё время бьёшь первым.

— А ты?

— А я жду, когда ты ударишь.

Я посмотрел на позицию и пошёл конём. Хафиз чуть приподнял бровь. Видимо, за меня он придумал другой ход.

— Как ты меня нашёл?

— Ты держишь деньги у менялы, который продаёт всё. — Он ответил ходом на ход. — Хромой чужак со светлыми глазами, азмарская чеканка, двадцать динаров. Джума назвал мне имя Хасан за два динара. Дальше было просто. Хасан, который не забирает денег на следующий день после вопроса, знает, что его ищут. Такой меняет берег. Вместе с берегом меняет имя. На старом берегу ты Салим. Вдова, лодочник, харчевня. — Он поднял на меня глаза. — Три дня. Остальные четыре я ждал, пока ты перестанешь смотреть на воду.

— Зачем?

— Человек, который смотрит на воду, думает о лодке. Человек, который чинит сеть, думает, что его потеряли. С таким легче говорить.

Два динара. Меня продали за два динара, и продал человек, которому я платил медяк с динара в месяц. Злиться на менялу было так же глупо, как злиться на прилив. Меняла продаёт то, что у него покупают. Ошибка была моя. Я купил у него хранение, а нужно было покупать тишину. Это разные товары, и цена у них разная.

* * *

— Рассказывай, — сказал я.

Хафиз долил себе кахвы. На донышко, как положено. Вторую чашку он опять не тронул.

— Через неделю после того, как пятеро не вернулись, эмир спросил меня, где управляющий. Я сказал: на западной дороге, мёртвый. Он спросил, почему повар говорит, что управляющий ушёл на запад, а мои всадники ушли на восток. — Хафиз повертел чашку в пальцах. — Хороший вопрос. Ответ у меня был. Но эмиру в тот месяц нужен был не ответ, а виноватый. За поход, за верблюдов, за подарок от мёртвого купца, от которого он не смог отказаться при всём городе. Первым виноватым стал повар. Вторым был бы я.

— И ты ушёл.

— За два дня до того, как он решил. — Хафиз помолчал. — Казначей, который не готовит себе выхода, — это не казначей. Это человек, который знает, где лежат деньги эмира. Таких убирают первыми.

— Сколько ты взял?

— Тысячу восемьсот.

Он сказал это сразу, как называют цену на рынке.

— Можешь не считать, я посчитал за тебя. Ратм взял пятую часть на проходе. Эмир скажет, что я взял всё. Эмир всегда округляет вверх.

Тысяча восемьсот динаров. Восемнадцать моих поясов. Двадцать домов вроде того, что стоял за глухой стеной у большой мечети в Хаджаре. Я сидел в одной комнате с самыми большими деньгами, какие видел с тех пор, как ушёл из дома Джафара. И эти деньги меня не касались.

Пока не касались.

— Дом, — сказал я.

— Дом.

— Ты купил его весной.

Хафиз не ответил. Это и было ответом.

— Мята посажена недавно, — сказал я. — Месяца два, не больше. Жёлоб светлый, вода его ещё не тронула. А ниша у калитки вытерта спиной. Твой привратник сидит в ней с весны. Дом купили весной и перестраивали всё лето. Весной я ещё жил в Хаджаре. Весной ты ещё сидел в казне.

— Я строил выход, — сказал Хафиз. — Выход строят заранее. Иначе это не выход, а бегство.

— Ты строил мой дом, пока я в нём жил.

— Я строил хороший дом. — Он пожал плечами. — Год я читал твой дом по полоскам Аниса. Высота стены, дверь, ниша, жёлоб, мята. Хороший дом. Зачем придумывать другой?

— И камень над жёлобом.

— И камень. — Углы его губ дрогнули. — Ты проверил?

— Нет.

— Правильно. Там пусто. — Он помолчал. — Пока.

— Одно в нём не так, — сказал я. — Кладовая у лестницы. Засов у неё снаружи.

Я заметил его, когда мальчишка вёл меня через двор. Тяжёлая дверь без окна, железные скобы, брус в руку толщиной. В Хаджаре кладовую запирали изнутри дома, на ключ, от слуг.

— В Хаджаре кладовую запирают от воров, — сказал Хафиз. — Здесь я запираю её на воров. Разница в одной стороне двери.

* * *

— Почему Малик? — спросил я.

Он взял моего коня своим слоном. Слон прыгнул через клетку, наискосок, как прыгают здешние слоны. Коня Хафиз поставил у края доски, рядом с талером.

— Потому что у этого имени лучшая цена на всех дорогах от Хаджара до моря. — Он стал загибать пальцы с чернильными пятнами. — Сабиль у стены, вода для прохожих. Тавро, которым клянутся на верблюьем рынке. Чужеземец, который простил долги двадцати трём родам. Хатиб ставит его в пример эмиру, не называя эмира. Два мальчика в Хаджаре носят его имя. — Он разжал пальцы. — Ты сделал из пустого места самое дорогое имя в пустыне, Мансур. А потом похоронил его. Я выкопал.

— Здесь знают, что Малик умер.

— Здесь знают, что умер купец из-за моря. Этот — из песков. — Хафиз чуть пожал плечами. — Малик значит хозяин. Хозяев на берегу как Хасанов. Половина рынка решила, что я его родня. Я не спорю. Наследник щедрого купца — хорошая репутация. И достаётся она бесплатно.

Я смотрел на его руку над доской. Он вёл эту партию так же, как вёл казну. Медленно, по одной клетке, без лишнего движения. Год он читал мои отчёты хозяину, которые шли к нему через кухню. Год собирал мой дом по полоскам бумаги. Потом пришёл на берег раньше меня и поставил дом там, где я его увижу.

Это был не дом. Это была визитная карточка. Человек, который строит копию твоего дома, говорит тебе одну вещь: я тебя прочитал.

— Чего ты хочешь? — спросил я.

— Имя — моё, — сказал Хафиз. — Деньги — мои. Дом — мой. Тебе — руки. Ты будешь управляющим дома Малика в Джульфаре. Тем же, кем был в Хаджаре. Только теперь у хозяина есть лицо. — Он помолчал. — Четверть прибыли.

— Зачем тебе я?

Вопрос был лишний. Ответ я знал. Но в переговорах полезно, чтобы цену твоего товара первым назвал покупатель.

Хафиз не стал делать вид, что не понял.

— Я умею считать, — сказал он. — Продавать я не умею. Для эмира я покупал верблюдов у тебя, потому что сам купил бы хуже. — Он сделал ход пешкой. — И второе. Хозяину без управляющего никто не верит. Купец, который сам ходит по рынку, — мелкий купец. Большой сидит за стеной, а по рынку ходит его человек. Ты сам это придумал. Я только прочитал.

* * *

Я сунул руку под рубаху и снял шнурок через голову.

Перстень лёг на ковёр рядом с доской. Сердолик в свете лампы был тёмным, почти чёрным, а по краю красным, как уголь в золе. Хафиз посмотрел на него. Лицо у него не изменилось. Оно не менялось никогда.

— Дай воск, — сказал я.

Среди полосок бумаги у доски лежала палочка тёмного воска для печатей. Хафиз подал её сам, без вопроса. Я подержал конец над лампой, пока воск не закапал, уронил тяжёлую каплю на чистую полоску и прижал перстень. Подержал. Снял.

Потом достал из-за пазухи его письмо и положил рядом. Воск к воску. Оттиск к оттиску.

Две лодки. Моя тянулась под всем словом и почти касалась первой буквы. Его не доходила на волос.

— Твою печать резали для казны, — сказал я. — Мою — для хозяина. В Хаджаре, в сундуке суда, лежит воля Малика. На ней моя лодка. Длинная. Любой, кто положит рядом твоё письмо и эту волю, увидит, что хозяин Джульфара пишет печатью казны эмира.

— Кто будет класть рядом? — спросил Хафиз. — До Хаджара двадцать дней песка.

— Тот, кто захочет узнать, куда ушла казна. — Я пожал плечами. — У эмира есть писец, который умеет смотреть на воск. Ты сам его учил.

Он помолчал. Взял полоску с моим оттиском, поднёс к лампе, повернул к свету. Положил обратно, точно на то же место.

— Ты можешь пойти с этим к шейху, — сказал он.

— Могу.

— Я тоже могу пойти к шейху. С тобой.

— Можешь.

— Тогда мы оба знаем, чем это кончится.

— Поэтому мы и считаем, — сказал я.

* * *

Хафиз откинулся на подушку.

— У тебя около ста, — сказал он. — Двадцать у Джумы. Остальное где-то под полом у вдовы. Я не искал. Мне незачем.

Он сказал это без нажима. Это было хуже нажима. Человек знает, что лежит у тебя под полом, и не трогает, потому что ему лень наклоняться.

Я посчитал. Сто против тысячи восьмисот. Моя доля в общем котле — пять динаров из каждой сотни. Я собирался просить половину прибыли. В первой жизни это называлось долей за работу, и инвесторы всегда смеялись, когда её называли. Потом платили.

— Сто и печать, — сказал я. — Против тысячи восьмисот и подделки. Половина.

— Четверть.

— Половина. Деньги без имени — просто деньги. Их можно отнять. Имя без печати — просто слово. Его может сказать любой. Ты принёс одно, я — другое.

— Треть, — сказал Хафиз.

Я сделал ход ладьёй. Медленно, как он.

— Две пятых, — сказал я. — И право на свои лоты.

— Какие лоты?

— Свои. Я буду покупать жемчуг на свои деньги и продавать его через дом. Под общей печатью, через общие руки. Расходы — пополам с домом, прибыль — моя.

— Твои деньги — это сто.

— Сегодня сто.

Углы его губ снова дрогнули. Мне показалось, что ему понравилось. Покупателю нравится, когда продавец торгуется хорошо. Значит, и за него этот продавец будет торговаться хорошо.

— И ещё, — сказал я. — Печать ставлю я. Своей рукой. Твою уберу в сундук.

— А если ты уйдёшь с ней?

— Тогда у тебя останется печать казны. Ты знаешь, сколько она стоит.

Хафиз долго смотрел на доску. Я не мешал. В торге после последнего слова молчит тот, кто его сказал. Кто заговорит первым, тот и уступит.

С протоки донёсся плеск: кто-то шёл на шесте вдоль мангров, поздно, без огня. В саду стрекотало что-то мелкое и злое. Хафиз не шевелился. Вторая чашка стояла у кофейника пустой. Весь вечер я следил за ней так же, как за доской.

— Две пятых, — сказал он наконец. — Свои лоты — да. Печать — твоя рука. Книги веду я. Деньги держу я. Каждый вечер ты приходишь сюда и рассказываешь, что сделал за день.

— Отчёт хозяину.

— Ты же любил писать отчёты хозяину. — Он передвинул ферзя на одну клетку. — Теперь их будут читать.

* * *

Мы не пожимали рук. Здесь не пожимают рук, когда договариваются о деньгах. Здесь просто продолжают партию.

Два счётчика под одним именем. Каждый из нас знал, что другой спишет его, как только это станет выгодно. Каждый знал, что другой это знает. В Москве такие партнёрства тоже бывали, только правду о них там узнавали в арбитражном суде. Здесь её проговорили в первый же вечер. Это было честнее.

— Мансур умер на западной дороге, — сказал Хафиз. — Пусть лежит. На берегу ты Салим, управляющий купца Малика. Хромой, северный, с тяжёлым характером. Ничего придумывать не надо.

— Хромой управляющий у купца по имени Малик, — сказал я. — Кто-нибудь однажды сложит два и два.

— Сложит, — согласился он. — Поэтому ты будешь много работать и мало говорить о себе. Что ты знаешь о жемчуге?

— Что его достают со дна. И что дно на этом берегу в долгу.

Хафиз посмотрел на меня внимательно, как меняла смотрит на монету, которую не ждал увидеть.

— Это ты успел за лето?

— За лето я успел больше. Хорошая жемчужина с южной банки у скупщика на берегу стоит два динара и восемь дирхамов. В Хаджаре за неё на свадьбу дают четыре. Ныряльщик, который её поднял, получает за неё в книге хозяина лодки дирхамов пять. Если получает. Чаше ему эти пять записывают против риса, который его семья съела зимой.

— Значит, деньги между дном и свадьбой.

— Деньги между дном и тем, кто покупает дальше всех от дна. — Я сделал ход. — Чем длиннее дорога, тем дороже жемчуг. И тем больше рук его держат. Каждая рука берёт своё.

— Сколько рук?

— Пока не знаю. Узнаю — скажу.

Он кивнул. Это был первый отчёт, и хозяин его принял.

— На берегу один настоящий хозяин, — сказал Хафиз. — Ибн Ханзаль. Шестьдесят лодок. Остальные — те, кому он разрешает быть хозяевами.

— Тогда нам нужна шестьдесят первая.

— Нам нужна первая, — сказал Хафиз. — Шестьдесят первых на этом берегу не бывает.

* * *

Партия кончилась вничью. Не по правилам — по усталости. На доске осталось по шаху и по две фигуры, и ни один не мог отнять у другого последнее. Хафиз сам сказал: хватит. Голый король проигрывает, а у нас обоих кроме короля что-то было.

Я посмотрел на талер на краю доски. Впервые за вечер.

Стёртая северная монета. Голова того, кто её чеканил, почти сошла. На гурте, напротив макушки, — косая зарубка на толщину ногтя. Моя зарубка. Я сделал её гвоздём в Хаджаре, в ночь перед тем, как подарить монету казначею. Потом её сняли с шеи мёртвого человека на западной дороге. Потом она легла сюда, на костяную клетку, чтобы я её увидел.

— Твоя, — сказал Хафиз. — Возьми.

— Пусть лежит, — сказал я. — Заберу, когда доиграем.

Он кивнул. Медленно, как кивают на хороший ход.

Потом взял кофейник и налил во вторую чашку. Впервые за вечер. На доньшко, как положено. Тёмная кахва легла в белую чашку ровным кругом, и запахло кардамоном.

Он поставил чашку передо мной.

— Пей, — сказал Хафиз. — Если бы я хотел тебя убить, я бы не тратил кахву.

Я взял чашку. Тёплая глина, граммов пятьдесят веса и два глотка горечи. Я выпил оба глотка. Кахва была лучше, чем в харчевне у пристани, и крепче, чем пил Хаджар.

Ставя чашку на ковёр, я смотрел не на Хафиза. Я смотрел на полоски бумаги у края доски.

Одна лежала отдельно от остальных, под самым краем, наполовину под костяной клеткой с талером. Узкая, исписанная мелко, почерком, который не тратит на буквы больше чернил, чем нужно. Видно было одно слово, первое.

Эмиру.

Глава 2. Жемчужный берег

Утром я отжался сорок шесть раз. На сорок седьмом руки сказали: хватит.

Потом пошёл к протоке. Вода у мангров была тёплой, градусов тридцать один, и пахла илом. Я поплыл вдоль берега к сломанной свае и обратно. Шесть раз туда и обратно, около пятисот метров. Нога в воде не болела. Голова в воде работала лучше, чем на циновке.

На берегу сидели две цапли и смотрели на меня, как смотрят на дурака. Человек, который плавает без цели, здесь был диковиной. Здесь в воду лезут за рыбой, за жемчугом или за утонувшим. Просто так в воду не лезет никто.

Вчера вечером хозяин дал мне первое поручение. Хафиз сказал его, собирая фигуры с доски, не глядя на меня:

— Десять дней. Узнай берег. Потом скажешь, где деньги.

Я вылез на отмель, выжал бороду и пошёл узнавать.

* * *

Лодочный мастер, у которого я летом снимал хижину, сидел у своей лодки на катках и мазал днище. Чёрная жижа в глиняном горшке пахла рыбьим жиром и смолой. Мастер обрадовался мне так, как радуются человеку, который когда-то заплатил вперёд.

— Ты теперь при купце, — сказал он. — Говорят.

— Говорят, — согласился я.

— Купец богатый. Платит за жемчуг на десятую часть больше. — Он сплюнул в песок. — Долго не протянет.

— Почему?

— Потому что платит больше.

Я сел на перевёрнутое ведро и попросил рассказать про лодку. Мастер сначала не понял, зачем. Потом понял, что ему за это ничего не будет, и рассказал с удовольствием. Людям, которые всю жизнь делают одно дело, редко дают о нём поговорить.

Лодка для банок была метров пятнадцать в длину. Одна мачта, одно большое косое крыло паруса, высокая корма. На ней уходят в море на всё лето двадцать — тридцать человек. Нахуда — капитан и хозяин. Ныряльщики. Подъёмщики, по одному на каждого ныряльщика. Повар. Мальчик на побегушках, который учится тянуть верёвку.

— Подъёмщик главнее ныряльщика? — спросил я.

— Подъёмщик держит его жизнь в руках, — сказал мастер. — Ныряльщик уходит на дно, подъёмщик держит верёвку. Ныряльщик дёрнул — подъёмщик тянет. Не потянул — ныряльщик остался внизу. Поэтому подъёмщиком берут брата. Или того, кто должен тебе больше, чем ты ему.

Он показал мне снаряжение, которое висело на гвозде под навесом. Зажим на нос из черепашьего панциря, гладкий, как кость. Кожаные напальчники, чтобы не резать пальцы о раковины. Плетёная корзина на шнуре — её вешают на шею. Верёвка. И камень.

Камень был серый, гладкий, с дыркой, в которую продета петля. Я взял его в руку. Килограммов шесть-семь.

— Это на ногу, — сказал мастер. — Ныряльщик ставит ногу в петлю, держит верёвку и уходит вниз. Быстро, как камень. Внизу ногу вынимает, а подъёмщик вытягивает камень обратно. Камень надо беречь. Хороший камень служит отцу, потом сыну.

— Как его зовут?

— Хаджар.

Я переспросил. Он повторил: хаджар. Камень.

Слово было то же самое. Город, из которого я ушёл через сердце песков, назывался камнем, потому что стоял на камне посреди песка. Здесь камнем называли то, что тянет человека на дно.

Я положил хаджар обратно на гвоздь.

— Сколько он там внизу?

— Минуту. Хороший — полторы. — Мастер поднял палец, чёрный от смолы. — Вниз — быстро, с камнем. Внизу собирает раковины в корзину, пока есть воздух. Дёрнул верёвку — подъёмщик тянет. Десять раз подряд. Потом отдых, пока другие ныряют. Потом ещё десять. За день — сорок, пятьдесят.

— А глубина?

— На больших банках — от шести ростов до десяти. Смотря где.

Он мерил глубину на свой лад, ростом человека. Я перевёл в своё: от десяти метров до восемнадцати. Пятиэтажный дом вниз, на одном вдохе, сорок раз за день. И так четыре месяца.

* * *

Через протоку, на рыночном берегу, у большого дома из серого камня с утра стояла очередь.

Мастер сказал, что это расчёт. Большой сезон кончился две недели назад, лодки вернулись, и теперь писец хозяина сводит с каждым ныряльщиком его книгу. Кто кому сколько должен после лета.

Я переправился за медяк и встал в тени у стены харчевни, напротив. Отсюда было видно всё.

Очередь шла вдоль стены, человек на шестьдесят. Мужчины, высохшие, чёрные от солнца, с красными глазами. У многих гноились уши. У одного не было двух пальцев на правой руке. Они стояли молча, как стоят у кади люди, которые заранее знают решение.

Под навесом у входа сидел писец. Немолодой, полный, с длинной узкой книгой на коленях и чернильницей на камне. Звали его Хашим, это я узнал позже. Ныряльщик подходил, называл имя, писец находил страницу и читал. Голос у Хашима был скучный и громкий, чтобы слышала вся очередь.

— Обайд, сын Сарура. Жемчуга за лето сдал на одиннадцать динаров. Семья взяла зимой риса и фиников на девять. Аванс перед выходом — четыре. Ткань — два. Против одиннадцати — пятнадцать. Должен четыре. С прошлых лет — тридцать один. Итого тридцать пять.

Ныряльщик кивнул. Отошёл. Следующий.

Я считал вместе с писцом. Жемчуг за лето на одиннадцать динаров. Мужчина три месяца нырял на пятнадцать метров по сорок раз в день и сдал жемчуга на одиннадцать. По чьей цене? По цене хозяина. Хумейд на берегу дал бы за тот же жемчуг вдвое больше, а то и втрое. Рис и финики, которые съела зимой семья, стоили на рынке, может быть, пять. В книге — девять. Человек отдал лето, чтобы стать должным на четыре больше, чем был весной.

Это была не торговля. Это была машина. Она не делала жемчуг. Она делала долг. Жемчуг шёл в ней побочным продуктом.

В Москве я видел такие машины в мелком шрифте договоров. Здесь она работала крупным почерком, вслух, при свидетелях, и никто в очереди даже не морщился. Морщатся, когда есть с чем сравнить.

* * *

К полудню из дома вышел хозяин.

Я ждал великана. Вышел маленький сухой старик в белом, лет шестидесяти пяти. Шёл медленно, опираясь на руку молодого человека, который был выше его вдвое. На трёх пальцах левой руки старика сидели перстни с чёрными жемчужинами. Каждая с ноготь мизинца, тёмная, с зелёным отливом, как вода в протоке на закате.

Ибн Ханзаль.

Шестьдесят лодок. Шестьдесят лодок по двадцать пять человек — полторы тысячи мужчин в одной книге. С семьями — тысяч пять ртов, которые зимой едят его рис. Половина берега.

Он остановился у очереди. Ныряльщик, только что отошедший от писца, увидел его и поклонился. Старик положил ему руку на плечо.

— Ты хорошо нырял, Обайд, — сказал он. Голос у него был тихий, почти ласковый. — Я видел твой жемчуг. На следующий год нырнёшь ещё лучше. Я в тебя верю.

Ныряльщик поклонился ещё ниже. Он был должен тридцать пять, и хозяин в него верил. Это было лучшее, что с ним случилось за лето.

Ибн Ханзаль улыбнулся. Зубы у него были мелкие и ровные, как у ребёнка.

Молодой рядом с ним не улыбался. Широкие плечи, нож на поясе, взгляд мясника на рынке, который выбирает тушу. Племянник, сказал кто-то в харчевне за моей спиной. Фахд.

У края навеса стоял ещё один. Огромный, с бритой бородой, в рубаше, которая трещала на плечах. За поясом у него была плетё. Не ремень, не верёвка — плетё, свёрнутая кольцом, с костяной ручкой. Он смотрел на очередь, как смотрят на стадо, и ныряльщики, проходя мимо, обходили его на шаг дальше, чем нужно.

— Джаббар, — сказал хозяин харчевни, ставя передо мной миску. — Нахуда. У него на лодке тонут чаще, чем у других. Зато привозит больше всех.

— Почему тонут?

— Он не ждёт, пока ныряльщик отдышится. — Хозяин харчевни пожал плечами. — Отдышаться можно и на дне.

* * *

После полудня я пошёл к пристани, где стоял человек шейха.

Он сидел под зонтом из пальмовых листьев, с весами и двумя стражниками с копьями. Каждая лодка, вернувшись с банок, отдавала ему пятую часть улова. Жемчуг шейха пересыпали в кожаный мешок, мешок запечатывали и уносили в квадратную крепость с одной башней у входа в протоку.

— А что шейх делает с жемчугом? — спросил я у стражника.

Стражник посмотрел на меня, как на ребёнка.

— Продаёт, — сказал он.

— Кому?

Он кивнул через плечо на большой дом из серого камня.

Я понял не сразу. Потом понял.

Шейх брал пятую часть с каждой лодки. С шестидесяти лодок Ибн Ханзаль тоже. Потом продавал свой жемчуг тому же Ибн Ханзалю, потому что больше никто на берегу не мог купить столько разом. По цене, которую назначал Ибн Ханзаль. А зимой, когда в крепости кончались деньги, шейх брал у того же Ибн Ханзаль вперёд, под будущий жемчуг. Как ныряльщик берёт рис под будущее лето.

Шейх был ныряльщиком. Он просто нырял глубже.

Вечером в харчевне у пристани это подтвердили трое разных людей, и каждый назвал свою сумму долга. От двух тысяч до пяти. На этом берегу никто не знал точно, сколько должен шейх. Это и было главным признаком того, что должен он много.

* * *

Вечером я пришёл к доске.

Хафиз сидел у лампы с полосками бумаги. Кофейник, две чашки. Сегодня он налил в обе сразу, не дожидаясь конца разговора. Я выпил свою и рассказал день.

Он слушал, не перебивая. Потом сказал:

— Где деньги?

— Сначала где жемчуг. — Я взял чистую полоску и его перо. Пальцы у меня сразу стали чёрными. — Жемчужина, которую в Хинде продают за тридцать динаров. Хорошая, круглая, белая. Сколько за неё получает ныряльщик?

— Не знаю.

— Никто не знает. В этом всё дело. — Я начал писать снизу вверх. — В Хинде — тридцать. Купец, который везёт жемчуг в Хинд морем, покупает её здесь за десять. Он рискует кораблём, штормом, пиратами, таможней султана. Его наценка — втрое. Купец берёт её у скупщика на берегу, у Хумейда, скажем. Хумейд платит семь. Он сортирует и подбирает в нитки. Его доля — треть сверху. Хумейд берёт у скупщика, который ходит по банкам с сундуком. Тот платит нахуда пять. Он рискует и платит наличными. Нахуда сдаёт жемчуг хозяину лодки, и хозяин записывает ныряльщику в книгу...

— Сколько?

— Полтора динара. Если повезёт. Против риса.

Хафиз посмотрел на столбик цифр.

— Полтора из тридцати.

— Двадцатая часть. — Я отложил перо. — Между дном и Хиндом три руки. Хозяин лодки. Скупщики — на банке и на берегу, считай их за одну руку, они друг другу родня. Купец, который везёт морем. Каждая рука берёт своё, и берёт много. Это не воровство. Это цепочка. Каждый в ней рискует и каждый за риск берёт.

— И где здесь наши деньги?

— В том, чтобы быть всеми тремя руками сразу. — Я посмотрел на него. — Свои лодки. Свои ныряльщики. Своя сортировка. Своя дорога в Хинд. Тогда наценку каждой руки берём мы. Все три.

В первой жизни это называлось вертикальной интеграцией. Слово было длинное и скучное. На доске у Хафиза оно уместилось в столбик из пяти цифр.

— Ибн Ханзаль — две руки из трёх, — сказал Хафиз. — Лодки и цена.

— Ибн Ханзаль — одна рука. Он держит лодки и людей. Жемчуг он продаёт купцам здесь, на пристани. В Хинд он не ходит.

— Почему?

— Не знаю. Может быть, потому что ему и здесь хорошо. Человек, которому хорошо, не плывёт за три недели морем.

Хафиз помолчал. Потом сказал то, что я ждал.

— А ныряльщики? Свои ныряльщики — это свой долг. Свои книги. Свой рис зимой.

— Нет, — сказал я. — Тут другое. Тут я ещё не досчитал.

Это была правда. Я не досчитал. Но кое-что уже видел. Машина Ибн Ханзалья делала долг, а жемчуг выходил из неё побочным продуктом. Человек, который ныряет, чтобы не утонуть в долге, ныряет ровно настолько, чтобы не утонуть. Ни раковиной больше.

* * *

Через три дня с пристани уходили лодки на короткий выход.

Мастер объяснил мне ещё в первый день. После большого сезона, пока вода тёплая, должники выходят на ближние банки, на полдня пути под парусом. Ещё на три недели. Глубина там меньше, двенадцать метров, раковина мельче, жемчуга мало. Идут те, кому не хватило лета, чтобы закрыть книгу. То есть почти все.

Праздника не было. День выхода на большой сезон, говорили, был праздником всего берега: барабаны, женщины в чёрном у воды, сам шейх на пристани. На короткий выход провозжали молча. Шесть лодок Ибн Ханзалья. Две чужие.

На корму третьей лодки поднялся Джаббар, с плетью за поясом. За ним — его ныряльщики. Одного я узнал: тот, что стоял в очереди перед Обайдом. Жилистый, лет тридцати пяти,

с белым шрамом через бровь. Писец прочитал ему тогда сорок один динар. За руку его держал мальчишка лет двенадцати, худой, длинноногий, с отцовской бровью без шрама.

— Сабах, — сказала вдова, у которой я снимал полдвора. Она стояла рядом и смотрела на лодки, прикрыв лицо краем чёрного платка. — Мой сосед. Через две хижины. Это его сын, Ваиль.

— Мальчик идёт с ним?

— Нет. Мальчик остаётся. Отец не хочет его на лодку Джаббара. Говорит, лучше сам отработает.

Сабах отцепил руку сына, сказал ему что-то в ухо и поднялся на борт. Мальчишка остался на песке. Лодка оттолкнулась шестами, поставила парус и ушла к выходу из протоки, мимо крепости шейха с её одной башней.

* * *

В тот же вечер я попросил у мастера камень на час.

Он дал, не спрашивая зачем. Решил, наверное, что управляющий купца сошёл с ума от жары. На берегу с ума сходят тихо и часто.

Был прилив. У сломанной сваи протока стояла глубже всего, метра четыре. Я вошёл в воду, сунул ногу в петлю, набрал воздуха и разжал руки.

Камень потянул вниз сразу, без раздумий. Вода потемнела, стала тёплой, потом прохладной. На втором метре заломило уши, на третьем в них будто вбили по гвоздю. Я зажал нос, как показывал мастер, и сглотнул. Отпустило. Ноги ушли в ил по щиколотку. Темно, мутно, тихо. Я считал. Десять. Пятнадцать. На двадцати грудь начала просить. На двадцати пяти — требовать.

Я выдернул ногу из петли и пошёл наверх, руками, по верёвке.

Наверху светило вечернее солнце, и цапли на берегу смотрели на меня с прежним презрением. Я висел на свае и дышал, как после лестницы на пятый этаж.

Четыре метра. Двадцать пять секунд. Один раз.

Ныряльщик Ибн Ханзала делает втрое глубже и вдвое дольше. Сорок раз в день. Чтобы стать должным ещё на четыре динара.

Камень я вернул мастеру. Он взвесил его на ладони, будто проверял, не убавилось ли.

* * *

Лодка Джаббара вернулась на девятый день.

Её увидели от мечети у причала, и к пристани пошли женщины. Лодка, которая возвращается с короткого выхода раньше срока, привозит одно из двух: больного или мёртвого.

Привезла мёртвого. Его вынесли на берег, завернутого в старый парус, и положили на песок у воды. Парус был мокрый, сквозь него проступала форма лица.

Ныряльщики рассказывали вполголоса, и я слушал, стоя за спинами. Ближняя банка, двенадцать метров. Сороковой нырок за день. Сабах ушёл вниз, подъёмщик ждал сигнала. Сигнала не было минуту. Полторы. Подъёмщик потянул сам. Сабах поднялся без сознания, с кровью из носа и из ушей. На палубе он открыл глаза, посмотрел на небо и умер.

— Глубина взяла, — сказал кто-то.

— Джаббар не дал отдышаться, — сказал другой, тише.

Первый на него посмотрел, и второй замолчал.

Женщины закричали. Вдова Сабаха упала на колени у паруса. Ваиль стоял рядом и не плакал. Он смотрел на отцовскую ногу, торчавшую из-под паруса. На щиколотке ещё была петля, в которую ставят хаджар.

Похоронили его до заката, как положено. Тело на берегу не держат.

До заката успели и второе дело. Я видел, как писец Хашим пришёл к хижине Сабаха с книгой под мышкой и сел у порога. Он пробыл там недолго. Ровно столько, сколько нужно, чтобы переписать одну строку.

* * *

Утром мальчишку повели на пристань.

Я сидел на пороге своей хижины и ел финики. Видел всё.

Ваиль вышел из хижины сам. Мать держала его за рубаху и не отпускала, и он шёл, таща её за собой, как тащат сеть. У ограды из пальмовых листьев их ждал Джаббар. Без плети, с пустыми руками. Плеть ему сегодня была не нужна.

— Должен сорок один, — сказал Джаббар вдове. Не зло. Устало, как говорят над погодой. — Отец не отработал. Значит, сын. Будет учиться тянуть верёвку. Через пару лет пойдёт на дно. Это хорошо. Ему повезло, что у него есть отцовский камень.

Вдова отпустила рубаху.

Ваиль пошёл за Джаббаром к лодке. Он шёл прямо и не оглядывался. Ему было двенадцать лет, и он был должен сорок один динар. С этого утра он будет должен больше каждый год. Через двадцать лет он станет Обайдом из очереди, которому хозяин положит руку на плечо и скажет: я в тебя верю.

Я доел финик и положил косточку на порог.

Жемчуг на этом берегу был побочным продуктом. Основной продукт только что поднялся по сходням на лодку Джаббара. Двенадцать лет, длинные ноги, отцовская бровь.

В руке он нёс камень с петлёй.

Глава 3. Сита

Хумейд узнал меня сразу. Летом я продал ему жемчужину из Азмара, и он отложил её в отдельный мешочек. Люди, которые откладывают жемчуг в отдельные мешочки, лица тоже откладывают отдельно.

— Хасан из песков, — сказал он, не вставая с ковра. — Теперь, говорят, Салим. Управляющий у купца.

— Говорят, — согласился я.

Хасаном меня на этом берегу знал один человек. Меняла Джума. Значит, меняла и скупщик разговаривают. На берегу, где все друг другу кумовья, в этом не было ничего странного. Я отметил это и отложил.

— Продавать пришёл?

— Учиться.

Он поднял брови. Белые, густые, как у лодочника на переправе.

— Чему?

— Тому, что ты делаешь руками. — Я сел напротив, на край ковра. — Три дня. Динар за день.

Динар за день на этом берегу платили за хорошую лодку с гребцами. Хумейд это знал. Он подумал ровно столько, сколько нужно, чтобы не показаться жадным.

— За первый день — вперёд, — сказал он.

Я положил динар на красную ткань.

* * *

Учил он хорошо. Медленно, молча, руками. Слова у него шли только там, где без них было нельзя.

Сначала сита. Семь медных чаш, одна в другой, как матрёшки, только плоские. В дне каждой — дырки. В первой крупные, в седьмой мельче просяного зерна. Хумейд высыпал в верхнюю горсть жемчуга с банки, неразобранного, вперемешку, и потряс. Жемчуг посыпался вниз, как крупа, и застрял по ситам сам. В первом остались три жемчужины. Во втором — восемь. Дальше больше и больше, а в поддоне под седьмым осталась пыль: крошечные жемчужинки, как манка.

— Это за горсть, — сказал Хумейд про пыль. — Дирхамы. Её берут лекари и женщины на вышивку. А это, — он тронул первое сито, — это деньги.

— Почему?

— Потому что большой жемчуг редкий. Вдвое тяжелее — вчетверо дороже. Втрое — вдевятиро.

Я перевёл в своё. Цена росла не по весу, а по квадрату веса. Хумейд этого слова не знал, но считал именно так, и считал без ошибок. В Москве я видел аналитиков, которые за такой расчёт брали месячную зарплату и путались в нём.

Потом весы. Крошечные, медные, с чашками размером с ноготь, и шкатулка с гирьками. Самая большая гирька — мискаль. Я прикинул на руке. Граммов четыре с половиной. Мискаль делился на двадцать четыре части, и Хумейд мерил жемчужины частями, как мы меряем каратами.

Потом свет. Хумейд выносил жемчужину к краю навеса и поворачивал её в пальцах.

— Смотри, какая у неё вода.

— Вода?

— Блеск. Как свет идёт в неё и выходит обратно. У хорошей вода глубокая. Смотришь — и будто видишь дно. У плохой вода мелкая. Блестит сверху, а внутри мутно.

Потом форма. Круглые — лучшие. Капли — для серёг, тоже хорошо. Пуговицы, плоские с одной стороны, — для шитья. Кривые, комками, — дешево. Хумейд катал жемчужины по красной ткани: круглая катится прямо, кривая — вбок и со стуком.

Потом цвет. Белый. Белый с розовым отливом — лучший на этом берегу, его хотят в Хинде. Кремовый. Жёлтый — дешевле, его отдают туда, где не разбираются. И кожа: пятна, трещинки, ямки. Хумейд находил их ногтем быстрее, чем я глазом.

Потом обман. Этому Хумейд учил охотнее всего, как учат тому, чем сам не пользуешься уже давно. Мокрый жемчуг тяжелее сухого: если подержать горсть ночь во влажной тряпке, она прибавит на гирьку. Жёлтый на белой ткани кажется белее, поэтому продают его на белой, а покупают на красной. Кривую жемчужину кладут в сито с круглыми, где она застрянет и пойдёт по цене соседей. Трещинку замазывают жиром с пальца.

— А ты так делаешь? — спросил я.

— Делал, — сказал Хумейд. — Когда был молодой и бедный. Потом стал старый и богатый. Старым и богатым врать дороже.

К вечеру первого дня у меня болела шея и рябило в глазах. Жемчуг на красной ткани светился, как маленькие луны. Я понимал, что не вижу и половины того, что видит старик.

— Сколько лет ты учился? — спросил я.

— Сорок, — сказал Хумейд. — И ещё учусь.

* * *

На второй день он высыпал передо мной горсть с чёрными.

Их было три. Мелкие, тёмные, с зелёным и синим отливом. Как перстни Ибн Ханзая, только меньше.

— Чёрный — редкий, — сказал Хумейд. — Одна раковина на много тысяч. За чёрный в Хинде платят, как за большой белый.

Он покатал одну жемчужину по ткани. Потом посмотрел на меня.

— Только твой хозяин, говорят, чёрного не берёт. Дурная примета.

Я не двинул лицом. Лицо я держал так, как держал его двадцать лет на переговорах, когда клиент случайно называл цену конкурента.

Хозяин не берёт чёрный жемчуг — это я сказал в Хаджаре одному человеку. Одному. Дарвишу, толстому жемчужнику в перстнях, который пахнет розовым маслом. Каждая такая подробность шла тогда только одному человеку. Каждая была меткой. По меткам я узнавал, кто куда носит.

Эта метка прошла двадцать дней песка, Ратм и солончаки и вышла на берег под навесом Хумейда.

Значит, Дарвиш говорил с Хумейдом. Или с тем, кто говорит с Хумейдом. Значит, кто-то на берегу уже сложил купца Малика из Хаджара и купца Малика из дома у протоки. А заодно и хромого управляющего при обоих.

— У хозяина новые приметы, — сказал я. — Он берёт всё, что стоит денег.

— Хороший хозяин, — сказал Хумейд.

Он ссыпал чёрные жемчужины в отдельную чашку. Не в общую шкатулку. Я это заметил. Он заметил, что я заметил. Как летом.

— Сколько за три? — спросил я.

— Тебе зачем? Хозяин не берёт.

— Хозяин не берёт. Я беру. На свои.

Хумейд назвал шесть динаров. Я дал пять и восемь дирхамов, и он взял, не споря, как берут с ученика. Три чёрные жемчужины легли в мой платок.

Это был мой первый лот. Свои деньги, свой товар. По договору я мог продавать его через дом под общей печатью, а прибыль брать себе. Пять динаров восемь дирхамов из моих ста. В

Хинде за чёрный, по словам Хумейда, платили как за большой белый. Если он не врал, три мелкие чёрные жемчужины стоили там динаров двадцать.

Если он не врал. Старым и богатым, по его же словам, врать было дороже. Дорого — не значит никогда.

* * *

На третий день я сидел у его навеса и смотрел, как покупают.

Пришли двое из Хинда. Купцы с корабля, который стоял у пристани с конца лета и ждал зимнего ветра, чтобы уйти домой. Серьги в ушах, белые одежды, мягкие голоса. С ними был свой человек с ситами. Он сел напротив Хумейда, и они начали.

Каждую жемчужину покупатель брал пинцетом из кости. Подносил к свету. Катал. Взвешивал на своих весах, потом на весах Хумейда. Спорили о каждой. Я засёк по солнцу: на горсть первого сорта ушло больше часа. Второй сорт покупатель смотрел быстрее, но тоже по одной. Третий брал горстями и всё равно ругался.

Он не верил Хумейду. Хумейд не верил ему. Оба были правы.

Я смотрел и считал не жемчуг, а время. Корабль стоит у пристани месяц, а купец сидит под навесом и проверяет чужие жемчужины одну за другой. Потому что сам он отвечает за каждую перед теми, кто купит у него в Хинде. Он тратил часы, чтобы купить уверенность. Своими глазами.

Уверенность я уже продавал. В Хаджаре, верблюдами.

Там покупатель не мог заглянуть в верблюда. Он покупал знак на шкуре и слово, которое за знаком стоит: если верблюд ляжет в пути, принеси шкуру — дадут замену. Знак продавал лучше любого знатока. Потом знак стал дороже самих верблюдов.

Жемчуг был тот же верблюд. Только мельче и дороже.

Вечером я рассказал это Хафизу.

— Мешочек, — сказал я. — В нём жемчуг одного сорта. Одно сито, один цвет, одна вода. Внутри опись: сколько штук, сколько весят, какой сорт. Мешочек зашит и запечатан нашей печатью. Покупатель берёт не глядя. Если хоть одна жемчужина не по описи, дом возвращает двойную цену.

— Двойную, — повторил Хафиз.

— Двойную. Иначе никто не поверит.

— А если покупатель подменит жемчужину сам и придёт за двойной ценой?

— Печать целая — значит, внутри то, что положили мы. Печать сломана — значит, купец уже открыл и смотрел сам. Тогда это его глаза, а не наши.

Хафиз помолчал.

— Честная сортировка — это убыток, — сказал он. — Сейчас скупщики подмешивают худое к хорошему. Каждый. Так продают хвосты.

— Сейчас покупатель из Хинда сидит над каждой жемчужиной час. И платит меньше, потому что знает, что в горсти есть хвосты. — Я покачал головой. — Честный мешочек — не убыток. Это цена, за которую он перестает сидеть.

В первой жизни это называлось сертификатом качества. Здесь его не было ни у кого. Значит, первый, кто его выдаст, и назначит за него цену.

— Хорошо, — сказал Хафиз. — Сколько тебе нужно?

— Двести. На банку.

Он открыл сундук и отсчитал двести динаров. Медленно, по десять, в кожаный мешок. Потом взял полоску и записал. Я видел, что он записал: двести, Салим, банка.

* * *

Утром я ушёл на ближнюю банку.

Лодку я нанял у мастера: узкая, лёгкая, с косым парусом, два гребца на случай безветрия. С нами пошёл привратник Хафиза, Карим. Плотный, немолодой, с дубинкой из тёмного дерева. Хафиз сказал, что Карим хорошо плавает. Я понял это так: Карим хорошо смотрит.

Мешок с золотом лежал у меня в ногах, под сетью. Сита — в ящике. Весы — за пазухой. Красная ткань — сверху ящика, свёрнутая. Ножа у меня не было. У гребцов и Карима ножи были, как у всех мужчин на этом берегу. Мне ножи заменяли весы.

Полдня под парусом. Берег ушёл назад, превратился в линию, потом в дым над линией, потом пропал. Вода из зелёной стала синей, потом опять зелёной, светлой, с песчаным дном. Это и была банка: подводная отмель посреди моря. Лодки стояли на якорях, далеко друг от друга, как фишки на большой доске. Восемь лодок. Шесть Ибн Ханзала, две чужие.

Солнце стояло в зените. Градусов тридцать восемь, и над водой без ветра. Ныряльщики уходили вниз через борт, один за другим. Подъёмщики стояли над ними, держа верёвки на пальцах, как рыбаки держат леску. Я смотрел на ближнего. Ушёл. Я считал. Сорок секунд. Пятьдесят. Шестидесят. Подъёмщик почувствовал рывок и потянул, перехватывая руками. Голова вынырнула через минуту и десять. Ныряльщик повис на верёвке у борта, дыша ртом, с зажимом на носу. Высыпал корзину на палубу. Три раковины. Отдохнул десять вдохов и ушёл снова.

Двенадцать метров. Минута десять. Три раковины.

У одной из чужих лодок стояла лодка поменьше, с навесом. Скупщик Ибн Ханзала. Я его узнал по сундуку на корме и двум людям с копьями.

Я велел гребцам взять к другой чужой лодке.

* * *

Нахуда Обейд был стар. Седая борода до груди, седые брови, лицо коричневое и сухое, как финик, который пролежал зиму. Он стоял у мачты, держась за неё рукой, и смотрел на моё приближение без радости.

— Купец Малик, — сказал он. — Слышал.

— Управляющий, — сказал я. — Салим.

— Слышал. — Он помолчал. — Ханзалев человек был у меня утром. Дал двадцать шесть за всё, что подняли за три недели.

— Ты взял?

— Нет.

— Почему?

— Потому что это стоит больше. — Обейд посмотрел на своих ныряльщиков. Их было четырнадцать. Они сидели у борта и смотрели на нас, все разом. — А им нужны деньги до зимы. Я обещал им долю медью. Ханзалев человек знает, что я обещал. Поэтому дал двадцать шесть.

Он не жаловался. Он сообщал. Как сообщают о течении у выхода из протоки.

— Покажи, — сказал я.

Он показал. Улов лежал в деревянном ящике, завернутый в тряпку: три недели работы четырнадцати человек. Я расстелил на палубе красную ткань. Поставил сита. Ныряльщики придвинулись. Подъёмщики встали за ними. Повар выглянул из-за мачты.

Я высыпал улов в верхнее сито и потряс.

Жемчуг пошёл вниз. Застревал по ситам сам, как учил Хумейд. Я снимал чаши по одной и вслух называл, что в каждой. Первое сито — две жемчужины. Круглые, белые, одна с розовым. Второе — семь. Третье — девятнадцать. Дальше — больше. Пыль.

Потом весы. Я ставил гири и говорил вес вслух. Каждый раз. Ныряльщики слушали так, как слушают чтение долгов у писца Хашима. Только теперь им читали не долг.

Через час я сказал:

— Сорок один.

Обейд не ответил сразу. Он взял одну из двух крупных жемчужин, повертел и положил обратно.

— Почему сорок один?

— Хумейд на берегу дал бы сорок пять. Четыре — мне за то, что я привёз деньги сюда, а не ты отвёз жемчуг туда. За день пути и за риск.

— А Ханзалева человек дал двадцать шесть.

— Он рассчитывал, что тебе некуда деться.

Обейд посмотрел на своих людей. Потом на меня.

— Деньги здесь?

Я открыл мешок.

Он взял сорок один динар. Я отсчитывал их на красную ткань по одному, вслух. Потом Обейд отсчитал из них долю команде. Тоже вслух. Тоже по одному. Нырляльщики подходили и брали своё. Один, самый молодой, долго держал монету на ладони, как держат что-то живое, что может улететь.

— Я сорок лет на банках, — сказал Обейд. — Ни разу не платил людям на палубе.

— Теперь платил.

— Теперь платил, — согласился он. — Ханзаль этого не простит.

— Чего именно?

— Того, что они это видели.

Скупщик Ибн Ханзаль подошёл к нашему борту через час. Его лодку подогнали гребцы, и он встал на её носу, держась за канат Обейда. Молодой, сытый, с золотым кольцом в ухе. Двое с копьями за его спиной смотрели не на нас, а на мой мешок.

— Обейд, — сказал скупщик. — Я давал тебе двадцать шесть.

— Давал, — согласился Обейд.

— Ханзаль спросит, почему ты не взял.

— Скажи ему, что я взял сорок один.

Скупщик перевёл взгляд на меня. На ногу, потом на лицо, потом на весы за моим поясом.

— Ты кто?

— Салим. Управляющий купца Малика.

— Купец Малик. — Скупщик улыбнулся одной стороной рта. — На этой банке покупаю я.

— На этой банке покупает тот, у кого лучше цена, — сказал я. — Сегодня это был я. Завтра может быть ты. Подними цену.

Он не ответил. Оттолкнулся от борта и велел грести к своей лодке. Кольцо в ухе блеснуло на солнце. Обейд смотрел ему вслед и молчал.

* * *

До вечера я купил ещё у двух лодок. У второй чужой и, к своему удивлению, у одной Ханзалева. Её нахуда подошёл ко мне сам, на маленькой лодке, когда солнце садилось. Показал горсть, которую, видимо, не показывал хозяину. Я дал ему честную цену. Он взял и попросил никому не говорить. Я сказал, что не знаю, кто он такой. Он сказал, что и сам уже не знает.

Всего за день ушло сто семьдесят два динара.

Ночью на обратном пути Карим сидел на носу и смотрел на воду. Звёзд было столько, что вода между ними казалась ещё одним небом. Я сидел над мешком с жемчугом и не спал.

Хафиз встретил меня у причала дома, с лампой. Он не спал тоже.

До утра мы сидели в дальней комнате над красной тканью. Я сортировал заново, уже по своему: не только по ситам, но и по цвету, по воде, по форме. Хафиз записывал на полосках. Из ста семидесяти двух динаров вышло девять мешочков. В каждом опись. Я грел воск над лампой, капал на узел и прижимал перстень. Девять раз. Девять длинных лодок.

— Сколько это стоит на берегу? — спросил Хафиз.

— Двести тридцать.

— А в Хинде?

— Втрое. Если довести. И если там поверят печати.

Хафиз потрогал пальцем ближний мешочек. Тёмный воск, оттиск, лодка под словом.

— Поверят, — сказал он. — Мы же поверили.

* * *

Азмарский караван уходил на запад через четыре дня, на рассвете.

Хумейд пришёл к верблюдам до молитвы. Начальник каравана, старый, с больными коленями, ждал его у последнего тюка. Они знали друг друга двадцать лет.

Хумейд вынул из рукава маленький кожаный мешочек, перевязанный шнуром. Внутри, в клочке бумаги, лежала одна жемчужина. Окатная, с розовым отливом, размером с горошину. С южной банки, пять лет назад. Он сам когда-то подобрал её в нитку и продал в Азмар.

— В Азмар, — сказал Хумейд. — В руки тому, кто платит за вести с берега. Он знает, что с ней делать.

— Ответ будет?

— Ответ не нужен.

Начальник каравана спрятал мешочек за пазуху. Хумейд вернулся под свой навес и разложил сита. Солнце ещё не встало. Красная ткань в утренней тени была почти чёрной.

Глава 4. Первая кровь

Люди эмира пришли в Джульфар с караваном из песков, через двадцать шесть дней после того, как я сел к доске.

Я узнал об этом от Хафиза. Хафиз — от Джумы.

— Четверо, — сказал он вечером, не поднимая глаз от полосок. — Трое с оружием. Четвёртый — писец. Анис.

— Анис сидел в яме.

— Его выпустили. Он лучше всех знает, как я считаю. Поэтому он и пришёл. — Хафиз отложил перо. — Остановились на постоялом дворе у пристани. Вчера вечером пили кахву у Джумы. Джума продал им богатого новичка в доме у протоки. За три динара.

— А тебе?

— А мне их. За пять. — Хафиз чуть пожал плечами. — Джума честный человек. Он продаёт всё всем. Только цена у каждого своя.

Я сел напротив. Доски сегодня не было. Были полоски, лампа и две чашки, пустые.

— Что они знают?

— Что казначей ушёл к морю. Что в Джульфаре новый купец из песков, который платит золотом и не торгуется. Что купца никто не видит днём. — Он помолчал. — Этого хватит. Анису больше и не нужно. Он увидит меня один раз и скажет: он.

— А обо мне?

— О тебе — ничего. Ты для них мёртвый. Мёртвых не ищут.

Он посмотрел на меня через лампу. Спокойно, как смотрят на счёт, который пора закрыть.

— Это твоя работа, — сказал Хафиз.

— Почему моя?

— Потому что я считаю. А ты бьёшь первым. — Он взял чистую полоску. — Если не справишься, я уйду через пристань. Лодка у меня готова с весны. Ты останешься с печатью и с сотней под полом. Это будет честно.

Это было честно. Это было даже щедро: он показывал мне свой запасной выход. Человек, который показывает запасной выход, уверен, что у него есть ещё один.

* * *

На следующий день я пообедал в харчевне у пристани дважды. Сначала в полдень, потом под вечер. Постоялый двор был через дорогу.

Троих я узнал сразу. Не по лицам, по тому, как они сидели. Спиной к стене, все трое, хотя у стены было жарче всего. Пояса не снимали. Кривые ножны лежали у каждого на коленях, и рука лежала на ножнах, как кладут руку на голову собаки. Люди из песков. Высокие, сухие, тёмные, в шерстяных рубахах, в которых здесь, во влажной жаре, можно было только умереть.

Им было плохо. Это было видно. Пот тёк по лицам и не высыхал. Рыбу они не ели, ковыряли пальцами рис и отодвигали куски, как отодвигают что-то подозрительное. Воду пили, как пьют в песках, — маленькими глотками, считая. Посреди города, где вода стоит у каждого порога в двух шагах.

Один долго смотрел на протоку. Смотрел так, как Бишр в первый день смотрел на море. Как на большого зверя, который ещё не решил, что с тобой делать.

Писца с ними не было. Писец, сказал хозяин харчевни, сидит у менялы. Целыми днями сидит и пьёт кахву.

Я доел свою рыбу и ушёл, не оглядываясь.

* * *

Бишра я нашёл в харчевне у пристани. Он доедал четвёртую миску риса с рыбой, и хозяин харчевни уже нёс ему рыбью голову, бесплатно, как в первый день.

Сезон кончился. Хозяевам лодок больше не нужны были люди, которые стерегут жемчуг на банках. Бишр сидел без работы двадцать дней и тратил своё, это было видно по миске: рыба в ней была мелкая.

Летом, как я узнал потом, Ибн Ханзаль платил ему полдинара в месяц и кормил рыбой. За три месяца на банке Бишр поймал двух воров и одного выбросил за борт. Вора, которого выбросили за борт, вытащили подъёмщики. Ибн Ханзаль за это ничего не добавил. Бишр запомнил.

Я сел напротив. Он не поднял головы.

— Работа есть, — сказал я.

— Какая?

— Та же. Стеречь. Иногда — больше, чем стеречь.

Бишр доел, вытер пальцы о край миски и посмотрел на меня. Шрам от скулы до челюсти в жаре харчевни был тёмным, почти лиловым.

— Сколько?

— Динар в месяц. И сто — в день, когда я живым уйду с этого берега.

Бишр помолчал. Он считал. Я видел, как он считает: губы не шевелились, но глаза уходили куда-то влево и вверх, как у человека, который смотрит на столбик цифр.

— Сто, — сказал он.

— Сто.

— Вперёд не беру.

— Знаю.

Он кивнул. Один раз. Так он кивнул мне в конце лета с кормы последней лодки. Хозяин харчевни поставил перед ним рыбью голову. Бишр съел и её.

— Кто? — спросил он, когда кончил.

— Люди эмира. Трое. Пришли за купцом.

— За тобой?

— За купцом. Я для них мёртвый.

Бишр подумал.

— Хорошо, — сказал он. Не уточнил, что именно хорошо. Может быть, то, что я мёртвый. Может быть, то, что их трое.

* * *

Ночь я разобрал на части, как разбирают сделку перед подписанием.

Людям эмира нужен был купец. Купец сидел за стеной на два локтя выше соседских, за тяжёлой дверью из привозного дерева, с привратником в нише. Через дверь не войти. Через стену — только с лестницами и шумом, на виду у соседей. Оставалась вода. Дом стоял у протоки, и со стороны протоки в стене сада была калитка к маленькой пристани. На пристани — лодка Хафиза, его запасной выход.

Ночью через протоку не ходит никто. Лодочники работают от рассвета до темноты. Значит, людям эмира нужна была лодка. И тот, кто её поведёт. Сами они вести не умели: Хаджар стоит посреди песка, там глубже колодца воды нет. В Хаджаре не плавают никто.

Это было главное. Остальное было логистикой.

Утром я пошёл к Джуме.

Меняла сидел в своей каменной лавке с настоящей дверью и записывал что-то в узкую книгу. Он поднял на меня спокойные глаза.

— Хасан, — сказал он. — Деньги взять?

— Деньги оставить. — Я положил на его стол два динара. — И кое-что продать.

— Что?

— Новость. Для тех, кто пил у тебя кахву позавчера.

Джума посмотрел на монеты. Не взял. Ждал.

— Привратник купца Малика берёт деньги, — сказал я. — Десять динаров, и ночью он откроет калитку со стороны протоки. Знак — лампа на пристани. Если лампа горит, калитка открыта. Лодку даст человек у мангров на этом берегу, под старой пальмой. Он возит ночью, без вопросов. Два дирхама с головы.

Джума подумал. Потом сгрёб два динара в ящик.

— Сколько им за это взять?

— Сколько дадут.

— Дадут три, — сказал Джума спокойно. — Люди эмира платят плохо. Но платят.

Я встал.

— Хасан, — сказал Джума мне в спину. — А правда, что привратник берёт?

— Все берут, — сказал я. — Ты же знаешь.

Он засмеялся. Беззвучно, одними плечами. Мы поняли друг друга. Его утечка теперь работала на меня. Течь в лодке плоха, пока ты не знаешь, куда она течёт. Когда знаешь, это уже не течь. Это водопровод.

* * *

Лодку я купил у мастера за четыре дирхама.

Старая, плоскодонная, метров пять. Мастер давно собирался разобрать её на доски. Днище у кормы было мягким, как размокший хлеб. Я нажал пальцем, и палец ушёл в дерево. Внизу, у самой кормы, была дыра под пробку: через неё сливают воду, когда лодка стоит на катках. Пробка — деревянная, обмотанная тряпкой.

Мы с Бишром обмотали её заново. Плотно, но так, чтобы она выходила от одного рывка. К пробке я привязал тонкую бечёвку и протянул её под доской настила к корме, где стоит человек с шестом.

Потом я повёл Бишра к воде.

Посреди протоки, напротив поворота к манграм, рыбаки ставили загородку. Ряд пальмовых жердей, вбитых в ил, с поперечной жердью у самого верха. Ловушка для рыбы: в прилив рыба заходит за жерди, в отлив остаётся. В полную воду верхняя жердь уходила под воду на ладонь. Сверху её не было видно. Глубина у загородки была метра полтора. В трёх шагах от неё, на стремнине, — четыре.

— Плавать умеешь? — спросил я.

— Нет.

— Тебе и не надо. Тебе надо стоять.

Я показал ему жердь. Он сам зашёл по ней в воду днём, в отлив, медленно, перебирая руками. Встал. Вода дошла ему до середины груди. Мне на том же месте она была бы до подбородка. Тем, кто в лодке, она будет над головой, как только они шагнут в сторону.

Бишр постоял, посмотрел на стремнину.

— Течёт, — сказал он.

— Через час после полной воды начинается отлив. Течёт к морю. Быстро, как идёт человек.

Он кивнул. Вышел. Отжал рубаху и больше ни о чём не спросил.

* * *

Хафиз смотрел, как я готовлю лампу.

Он сидел на ступеньке у кладовой, в тёмном, как всегда. Свет из дальней комнаты падал на его руки. Пальцы не двигались.

— Ты пойдёшь сам? — спросил он.

— Лампу держит тот, кто знает, когда её погасить.

— Тебя увидят.

— Меня увидят трое. Утром их не будет.

Хафиз кивнул. Медленно, как кивают на ход, который сам бы не сделал, но против которого нечего возразить.

— А Анис?

— Анис пойдёт с ними. Он должен тебя узнать. Он для этого и пришёл.

Хафиз ничего не сказал. Только посмотрел на меня чуть дольше, чем нужно. Тогда я этого взгляда не понял.

Полная вода пришла в полночь. Я вышел на пристань, поставил лампу на край настила и сел рядом, на мокрые доски. Калитка за спиной была закрыта на засов изнутри. Карим стоял за ней с дубинкой. Хафиз не вышел.

Протока лежала чёрная и гладкая, как масло. Над манграми стояла луна, ущербная, в мокром воздухе мутная. На том берегу горели два огня у пристани и один у постоянного двора. Потом и он погас.

Было градусов двадцать девять. После полуночи на берегу холоднее не становится, становится только темнее. Комары нашли меня через минуту и больше не отпускали. Я не бил их. Хлопок над водой слышно далеко. Лампа горела ровно, масла в ней было часа на четыре. В саду за стеной что-то стрекотало, потом замолчало, потом начало снова.

Я считал. Не время — шансы. Трое из песков, которые не плавают. Гнилое днище. Пробка на бечёвке. Течение отлива. Бишр, который не плавает тоже, но стоит на жерди. Если лодка пойдёт не там, Бишр её просто доведёт до пристани, и тогда работать придётся Кариму с дубинкой, а мне — бежать к калитке на хромой ноге. Это был плохой вариант. Других я не придумал.

Через час я услышал шест.

* * *

Лодка шла от мангров рыночного берега наискосок вверх по течению. Шест входил в воду и выходил с тихим чмоканием. На корме стоял большой человек, закутанный в лодочничий плащ с головой. На дне сидели трое. Я видел их силуэты против лунной воды. Три головы в платках. Один держал на коленях что-то длинное. Меч или копье.

Трое.

Я ждал четыре головы. Голов было три.

Лодка дошла до середины. До загородки. Человек на корме вынул шест из воды, наклонился, будто поправить что-то у ног. Потом выпрямился и шагнул за борт. Спокойно, как сходят на пристань.

Он не упал. Он встал. Над водой осталась его голова и плечи. Он стоял посреди протоки, как столб, держась рукой за невидимую жердь.

Лодка дёрнулась. Сидевшие в ней не поняли сразу. Потом один вскочил. Плоскодонка качнулась, зачерпнула бортом, и вода хлынула через корму, где доска была мягкой, как хлеб. Кто-то крикнул. Коротко, глухо. Второй тоже вскочил, лодка легла на бок, и все трое оказались в воде.

На стремнине. В четырёх метрах. В шерстяных рубахах, с поясами, с железом. Течение отлива уже шло к морю, со скоростью человека, который идёт не торопясь.

Один ухватился за край перевернутой лодки, но лодка была гнилая и тонула сама. Второй бил руками по воде так, как бьют люди, которые никогда не были в воде глубже колодезного корыта. Третий нашёл Бишра. Вцепился ему в ногу. Бишр стоял неподвижно. Потом поднял ногу и опустил. Один раз. Человек отпустил.

Я сидел на мокрых досках и смотрел.

Минуты через три стало тихо. Над протокой осталась одна голова и плечи. Перевернутую лодку медленно уносило к выходу в море. Луна стояла там же, где стояла.

Я задул лампу.

Потом взял её за ручку и пошёл по пристани к калитке. Доски были мокрыми и скользкими, нога после долгого сидения не гнулась. Я хромал сильнее обычного.

Бишр вышел на старый берег у мангров через полчаса, мокрый до плеч, и подошёл к калитке.

— Трое, — сказал он.

— Трое, — сказал я.

— А четвёртый?

— Не сел.

Бишр подумал над этим. Потом сел в нишу у калитки и стал выжимать рубаху.

* * *

Утром их нашли в манграх.

Двоих — ниже по протоке, в корнях, лицами вниз. Третьего — у загородки рыбаков, он запутался в жердях. Рыбаки, которые пришли в отлив за рыбой, вытащили его первым. Рыбы в ловушке в ту ночь было мало.

Весь берег сошёлся смотреть. Мужчины, женщины с корзинами, мальчишки. Я пришёл тоже. Нужно было сосчитать. Не досчитанный счёт хуже проигранного.

Трое. Лица распухли от воды, у одного на шее след от верёвки, которой он подвизывал меч. Мечи нашли на дне в отлив, у загородки. Чужие. Не здешней работы. Пустынные кривые ножны.

— Из песков, — сказал старик рядом со мной. — Ночью полезли через протоку. На чужой лодке. Лодка гнилая, дно вывалилось.

— Плавать никто не умел, — сказал другой.

— В песках плавать негде.

— А зачем ночью?

Старик пожал плечами.

— Чужие, — сказал он, как говорят о погоде. — Кто знает, что у чужих в голове.

Лодку мастера нашли у выхода в море, на мели, днищем вверх. Мастер посмотрел на неё издали и сказал, что давно хотел разобрать её на доски. Ему не повезло. Её разобрало море.

Пришёл человек шейха, тот, что летом сидел с весами на пристани. Посмотрел на мёртвых, на мечи, на перевёрнутую лодку вдали. Спросил, чьи. Никто не знал. Хозяин постоянного двора сказал, что жили у него четверо, пришли с караваном из песков, платили медью. Человек шейха кивнул и записал что-то на дощечке. Мечи велел отнести в крепость. Хорошее железо на этом берегу дороже мёртвых чужаков.

Тела унесли к мечети у причала. Похоронили до полудня. Чужих хоронят быстро.

Три строки в счёте. Первые на этом берегу.

* * *

Днём я пошёл к Джуме за двумя динарами. Деньги мне были не нужны. Мне нужен был Джума.

Он отсчитал монеты и не сразу отдал. Держал на ладони и смотрел на меня спокойно, как всегда. Как в конце лета, когда сказал, что про меня спрашивал человек от хозяина.

— Четвёртый ушёл утром, — сказал Джума. — На лодке вдоль берега, на юг. До первого каравана в пески.

— Писец?

— Писец. Худой, пальцы в чернилах. Кашляет. — Джума помолчал. — Вечером, до полуночи, он сидел у меня. Пил кахву. Не пошёл с ними. Сказал, что писцы по ночам не ходят по воде. Сказал, что посмотрит с пристани.

— С пристани далеко.

— С пристани всё видно, если на той стороне горит лампа, — сказал Джума. — Утром, перед лодкой, он зашёл снова. Спросил одну вещь.

— Какую?

Джума положил монеты мне в ладонь.

— На какую ногу хромает управляющий купца Малика.

Я стоял и держал два динара. Тяжёлые, азмарской чеканки. Где-то я уже слышал этот вопрос. На постоялом дворе у восточных ворот Хаджара, на второе утро, от хозяина двора. Худой вежливый человек с пальцами в чернилах спрашивал, на какую ногу хромает нищий. Тогда спрашивал учитель. Теперь — ученик.

— Что ты сказал?

— Правду. На левую. — Джума пожал плечами. — Правду продавать дешевле. Её не надо помнить.

Я положил ему на стол дирхам. За правду. Он взял.

Я вышел из лавки на солнце. Пристань, мечеть, протока, на том берегу — серая стена дома Малика и маленькая пристань под ней. Отсюда она была видна целиком. Ночью, с одной лампой на краю, — тем более. И хромой человек, который идёт с этой лампой по мокрым доскам к калитке.

Хафиз на пристань не вышел. Хафиз посмотрел на меня вчера чуть дольше, чем нужно.

Анис не искал меня. Анис искал казначея. Он нашёл больше, чем искал, и ушёл с этим в пески раньше, чем я досчитал до четырёх.

Мансур, убитый разбойниками на западной дороге, вчера ночью держал лампу на пристани купца Малика в Джульфаре.

И его видели живым.

Глава 5. Долг Марзука

Глухой ныряльщик снова сидел на пристани и чинил сеть.

Летом я принял его за старика. Красные глаза, будто неделю без сна. Ногти сошли на всех десяти пальцах, и пальцы были розовыми и голыми, как у новорождённого. Мальчишка дёргал его за рукав и кричал ему в лицо.

Теперь я подошёл ближе и посмотрел внимательнее. Ему было около сорока. Не больше. Плечи широкие, спина прямая, руки сильные. Старым его делали глаза, уши и пальцы. Море старит быстрее, чем солнце в песках.

— Марзук, — сказал лодочный мастер, когда я вернулся к его навесу. — Лучший ныряльщик у Обейда. Может, лучший на всём берегу.

— Глухой.

— Двенадцать лет. Ушёл однажды на восемнадцать метров, на дне его прихватило, подъёмщик тянул долго. Поднялся с кровью из ушей. С тех пор не слышит. — Мастер пожал плечами. — Зато вниз ходит глубже всех. Глухому вода в уши не давит. Нечем ей давить.

— Сколько он внизу?

— Полторы минуты. Иногда больше. Подъёмщики его боятся: дёрнет — не дёрнет. Он знаками с ними. Сын переводит.

— А сын?

— Наиф. Восемь лет. Летом будет девять. — Мастер помолчал. — Сын у него записан.

— Как записан?

— У Ибн Ханзалья. Марзук раньше нырял у Ханзалья. Когда оглох, Ханзаль его отдал. Обейд взял и заплатил за него долг. Только не весь. Остаток Ханзаль простил. А в книгу вместо остатка записал мальчика. Когда тому исполнится десять, пойдёт подъёмщиком на Ханзалеву лодку. Три сезона.

— Это можно выкупить?

— Деньгами — нет. — Мастер посмотрел на меня, как на человека, который спрашивает, можно ли выкупить погоду. — Ханзаль за мальчиков денег не берёт. Он берёт мальчиков.

* * *

Обейд сидел у своей лодки на катках. Короткий выход кончился неделю назад. Лодку вытащили на берег, мальчишки соскребали с днища ракушку. Старик держал на коленях узкую книгу в кожаном переплёте, затёртую до блеска.

Он увидел меня и не встал.

— Сорок один, — сказал он вместо приветствия. — Ханзалев человек приходил три раза. Спрашивал, что ты мне ещё обещал.

— А ты что?

— Сказал, что ты обещал заплатить, и заплатил. Больше ничего. — Он погладил переплёт. — Ему не понравилось. Он не любит, когда платят.

Я сел рядом на бревно.

— Я хочу купить долг Марзука.

Обейд повернул ко мне голову. Медленно, как поворачивают тяжёлую лодку.

— Человека?

— Долг. — Я покачал головой. — Людью я не торгую. Долгами — да. И я их жгу.

Он смотрел на меня долго. Потом засмеялся. Беззвучно, в седую бороду, так, что затряслась книга на коленях.

— Ты разоришься, — сказал он.

— Может быть. Сколько?

— Сорок шесть.

Он открыл книгу и нашёл страницу. Узкий лист, исписанный в столбик. Даты по сезонам, рис, финики, ткань, аванс. Жемчуг против этого. В конце — сорок шесть. И под числом — отпечаток большого пальца в чернилах. Марзук не умел писать. Его подписью был его палец.

— Сколько записано, столько и возьму, — сказал Обейд. — Я не Ханзаль, чтобы брать больше. И не дурак, чтобы брать меньше.

— Сорок шесть, — согласился я. — При свидетелях.

* * *

Свидетелей мы взяли у мечети после полуденной молитвы. Двух старых нахуд, что сидели у стены в тени, и имама мечети у причала. Имам был маленький, сухой, с белой бородой и тихим голосом. Он спросил, что мы делаем. Я сказал: выкупаем долг ныряльщика и прощаем его. Имам подумал и сказал, что это угодное дело. Потом спросил, зачем при свидетелях. Обейд ответил за меня: чтобы потом никто не сказал, что долг не прощён.

Народ собрался сам. На этом берегу люди собираются на огонь, на драку и на деньги. Сегодня было всё сразу, кроме драки.

Я отсчитал сорок шесть динаров на ладонь Обейда. Вслух, по одному. Он пересчитал вслух. Потом вырвал из книги лист с отпечатком пальца. Аккуратно, по сгибу.

Хозяин харчевни принёс уголь в глиняной плошке. Я поднёс лист к углю. Бумага загнулась, потемнела по краю и вспыхнула. Сорок шесть динаров долга горели секунд десять. Потом от них остался чёрный завиток, который ветер унёс к воде.

Марзук стоял рядом и смотрел. Он не слышал, что говорили, и не понимал, что горит. Наиф дёргал его за рукав и показывал руками: сначала на огонь, потом на отца, потом разводил ладони, будто выпускал птицу. Марзук смотрел на сына. Потом на меня. Потом на чёрный завиток над водой.

Потом поднял руки и показал что-то быстрое, короткое. Пальцами по ладони.

— Он спрашивает, — сказал Наиф. Голос у него был высокий и звонкий, как у всех мальчишек, которые выросли рядом с глухим. — Теперь он чей?

Все вокруг замолчали. Нахуды у стены. Имам. Хозяин харчевни с плошкой. Ныряльщики, которые пришли посмотреть на огонь. Человек сорок. Я посчитал их, пока горел лист.

— Свой, — сказал я. — Переведи.

Наиф перевёл. Двумя руками, медленно.

Марзук постоял. Потом кивнул мне. Один раз, коротко, как кивают нахуде перед нырком. И вернулся к своей сети на пристани.

* * *

Вечером я пошёл к его хижине. Она стояла на моём берегу, через шесть хижин от вдовы, у самой воды. Две комнаты из пальмовых листьев, очаг, кувшин, сеть на колышках. На стене, на гвозде, висел камень с петлёй.

Марзук сидел у очага и чистил рыбу. Наиф сидел рядом и смотрел, как я вхожу. Жены я не увидел. Мастер говорил потом, что она умерла три зимы назад от лихорадки, какая приходит на берег с северным ветром.

Я сел на порог. Марзук отложил рыбу и вытер руки о рубаху.

— Скажи ему, — сказал я Наифу, — что летом я хочу, чтобы он нырял на лодке Обейда. За треть улова. Медью, при свидетелях.

Наиф перевёл. Руки у мальчишки двигались быстро, как у менялы, который считает монеты. Марзук смотрел на пальцы сына, потом на меня. Потом ответил. Долго, медленно, несколько раз показывая на мальчика.

— Он говорит, что будет нырять, — сказал Наиф. — Он говорит, что ему всё равно, на кого нырять. Ему нужно, чтобы я не пошёл на Ханзалеву лодку.

— Почему?

Наиф помолчал. Потом сказал сам, без перевода, своим голосом:

— Ханзаль отдаст меня Джаббару. Всех мальчиков, которые записаны, он отдаёт Джаббару. Джаббар учит быстро.

Я вспомнил Ваиля с отцовским камнем в руке. Двенадцать лет, длинные ноги.

— Сколько тебе до десяти?

— Год и половина. — Наиф показал на пальцах, хотя я не просил. — Потом — три лета.

Марзук что-то показал сыну, коротко и резко. Наиф замолчал и опустил глаза. Видимо, отец велел не говорить лишнего чужому.

Я встал. В хижине пахло рыбой, дымом и солью. На гвозде висел камень. Через полтора года он будет висеть на ноге у подъёмщика Джаббара, а Марзук будет нырять где угодно, лишь бы зарабатывать на то, чего не купишь деньгами.

Ханзаль за мальчиков денег не берёт. Он берёт мальчиков.

Это я тогда записал себе как задачу. Решения у меня не было.

* * *

Это была не благотворительность. Благотворительность делают тихо. Это была реклама. Сорок шесть динаров за то, чтобы сорок ныряльщиков у мечети увидели огонь. Каждый из них был кому-то должен. Каждый сегодня вечером расскажет об этом жене. Жена расскажет соседке. К утру о долге, который сгорел за десять секунд, будет знать весь берег.

В Москве такой охват стоил бы вдвое дороже. И работал бы хуже. Там люди не видели, как горят их долги. Здесь видели. Один раз.

* * *

Вечером у доски Хафиз выслушал всё и сказал одно слово:

— Глухой.

— Лучший ныряльщик берега.

— За сорок шесть. — Хафиз записал на полоске. — Это два хороших лота. Сорок шесть динаров, чтобы глухой нырял на нас, а не на Обейда.

— Он будет нырять на себя, — сказал я. — В этом всё дело.

Я взял его перо. Пальцы сразу стали чёрными, как в прошлый раз.

— Лодка Ибн Ханзаля. Двадцать пять человек. За сезон поднимает жемчуга на триста пятьдесят по здешним ценам. Это средняя лодка, плохие поднимают меньше. Ныряльщикам записывают в книгу по цене хозяина, в сумме — динаров сто. Против риса. Ныряльщик знает, что сколько ни поднимет — будет должен. Он ныряет ровно столько, чтобы его не били. Тридцать раз в день. Берёт первые раковины, какие под рукой. Мелкие тоже.

— А наш?

— Наш получает треть улова. Деньгами. По честному весу при свидетелях, как сегодня у мечети. Он знает, что каждая раковина — его. Он ныряет сорок пять раз вместо тридцати. Он выбирает крупные раковины, потому что в крупной чаше крупный жемчуг. Он не прячет лучшее во рту, потому что лучшее и так его на треть.

— Ты думаешь — вдвое?

— Я думаю — вдвое. Втрое, если повезёт с банкой. — Я поставил цифры столбиком. — Лодка поднимает на тысячу. Треть команде — триста тридцать три. Пятая часть шейху — двести. Остальное — наше. Почти пятьсот. Это по здешним ценам. А продаём мы в Хинде. Втрое.

Хафиз долго смотрел на столбик.

— А зимой? — спросил он. — Зимой их семьи едят. Кто им даст рис?

— Мы. Аванс. Рис и финики по рыночной цене, а не по цене писца. Летом аванс вычитаем из их трети.

— Это тот же долг.

— Почти. — Я отложил перо. — Одна разница. Наш долг умирает вместе с человеком. Утонул — долга нет. На сына не переходит. Никогда.

— Это убыток.

— Это страховка, — сказал я. — Только платит за неё дом. Каждый ныряльщик на берегу знает, что его долг ляжет на сына. Каждый ныряет с этим камнем на ноге. Мы снимаем камень. За это они будут нырять на нас, а не на Ханзалья. Лучшие. Первыми.

Хафиз помолчал. Потом налил кахвы в обе чашки, на доньшко.

— Ты говоришь, как хатиб, — сказал он.

— Я говорю, как продавец. Хатиб продаёт рай. Я продаю сына без долга. Товар ближе. Его можно увидеть.

Он выпил. Кивнул.

— Сколько это будет стоить?

Я посчитал вслух. Лодка на банки — около двухсот. Нам нужно шесть, если мы хотим, чтобы Ханзаль заметил нас не как муху, а как соседа. Тысяча двести. Аванс на зиму семьям — динара по три на ныряльщика, на шесть лодок около семидесяти ныряльщиков и столько же подъёмщиков. Четыреста с лишним. Выкуп долгов у мелких хозяев — сколько попросят. Сорок шесть за Марзука — это верх, лучший ныряльщик стоит дороже. Средний должен двадцать, молодой — десять.

— Больше, чем у нас есть, — сказал Хафиз.

— Больше, чем у нас есть сегодня. — Я положил перо. — Девять лотов с банки уйдут купцам из Хинда до зимнего ветра. Это первые деньги сверху. Потом будут другие. Лодки не нужно покупать все сразу. Ныряльщиков не нужно выкупать всех сразу. Нужно, чтобы на берегу узнали, что выкупают.

Мой финансовый директор в Москве назвал бы это кредитным плечом и поморщился. Хафиз такого слова не знал. Но поморщился так же.

— Сколько тебе нужно сейчас?

— Посчитаем, когда придут.

— Кто придёт?

— Обейд, — сказал я. — Завтра.

* * *

Обейд пришёл не завтра, а через два дня. К дому у протоки, к калитке. Карим не хотел его пускать, а потом увидел меня во дворе и пустил.

Старик сел в меджлисе у входа, на край подушки, будто подушка была чужой и могла обидеться. Отказался от кахвы. Положил на колени свою книгу.

— Мои четырнадцать должны мне двести десять, — сказал он. — Вместе. С Марзуком было двести пятьдесят шесть, ты его купил.

— Купить остальных? Долги, — поправился я.

— Долги, — согласился он. — Я старый. Мне шестьдесят восемь. Мне не нужны двести десять в книге, которые я соберу через десять лет, если доживу. Мне нужна лодка на следующее лето и чтобы люди на ней ныряли, а не тонули.

— Сто двадцать, — сказал я.

— Сто сорок, — сказал Обейд. — И я сожгу их сам. При своих людях. Это мои долги. Пусть видят, что жгу я.

Я подумал. Сто сорок за двести десять — это две трети номинала. Плохие долги на этом берегу не продавались вовсе. Хорошие — за три четверти. Обейд просил за свои среднюю цену, и просил честно.

И ещё одно я понял, пока думал. Обейд хотел сжечь сам не из гордости. Он хотел, чтобы его люди видели, что его рука держит огонь. Нахуда, который сжёг долги своих людей, — это нахуда, за которым идут. Старик тоже умел продавать. Просто никогда раньше этим не занимался.

— Сто сорок, — сказал я. — И следующим летом твоя лодка ходит по правилу Малика. Третью команде. Честный вес. Аванс без наследства. Мы даём деньги на аванс и покупаем весь улов по честной цене. Тебе — твоя доля нахуды, как всегда.

— А пятая часть шейху?

— Как всегда.

Обейд посмотрел на книгу на коленях. Погладил переплёт ладонью, как гладят старую собаку перед тем, как отдать её.

— Ханзаль не простит, — сказал он.

— Ты уже говорил.

— Тогда я говорил про сорок один. Теперь — про всю лодку. — Он поднялся. Колени у него хрустнули. — Мне шестьдесят восемь лет. Чего мне бояться?

Через день, у его лодки на катках, при команде и при тех же двух старых нахудах, Обейд вырвал из книги тринадцать листов и сжёг их на углях. Один за другим. Медленно. Нырляльщики стояли вокруг и не говорили ни слова. Один, молодой, тот самый, что держал на палубе монету, как живую, плакал и не вытирал лица. Никто на него не смотрел.

Первая свободная лодка на берегу. Четырнадцать человек без долга. Сто восемьдесят шесть динаров дома Малика.

Хафиз записал их на полоску. Против суммы он написал одно слово, которого я не ждал от казначея: вложено.

Через три дня у калитки дома у протоки стояли люди.

Не толпа. Человек восемь, по одному, по двое, на расстоянии друг от друга, как стоят у лекаря, когда стыдно, что болен. Нырляльщики. У каждого — свой хозяин и своя книга. Они приходили спросить. Правда ли, что купец выкупает долги. Правда ли, что сжигает. Правда ли, что треть.

Карим не знал, что с ними делать. Хафиз велел их не пускать во двор и не гнать. Я вышел к ним сам и сел на камень у стены.

Спрашивал я одно и то же. Как зовут. Чей. Сколько должен. Сколько лет нырял. На какую глубину ходишь. Сколько секунд внизу.

Отвечали все по-разному, а глаза у всех были одинаковые. Как у человека, которому показали воду на другом берегу протоки и не сказали, можно ли её пить.

К концу недели в моём списке было двадцать два имени. Девятнадцать — у мелких хозяев, по три, по пять человек на лодку. Трое — у Ибн Ханзали. Против троих я поставил знак: подождать. Против остальных — сумму. Всего двести девяносто. Не сразу. По одному, по два, когда у хозяина будет нужда в деньгах. Нужда у мелких хозяев бывает каждую зиму.

* * *

Человек Ибн Ханзали пришёл ко мне через неделю.

Не Фахд. Не Джаббар. Хашим, писец, с книгой под мышкой. Он нашёл меня утром у сломанной сваи, когда я выходил из воды. Стоял на берегу, полный, немолодой, в чистом, и ждал, пока я выжму бороду.

— Мир тебе, управляющий.

— И тебе мир.

— Хозяин просил передать. — Хашим говорил тем же голосом, каким читал долги у большого дома. Скучным и громким. Только теперь слушал его я один. — Мальчика Марзука хозяин не продаст. Ни за какие деньги. Ты спрашивал через мастера, мастер спрашивал через меня.

— Я понял.

— И ещё. — Хашим поправил книгу под мышкой. — Хозяин просил сказать, что берег стоит на долге, как дом на сваях. Тот, кто вынимает сваи, думает, что строит. А он ломает.

— Это всё?

— Почти.

Хашим посмотрел на протоку. На лодку Обейда на катках, на том берегу. На мальчишек, которые соскребали ракушку с её днища.

— Ныряльщик с долгом — человек хозяина, — сказал он. — Его никто не тронет. Тронешь — ответишь хозяину. А ныряльщик без долга не принадлежит никому. Его некому защитить.

Он повернулся уходить. Остановился. Сказал через плечо, как говорят то, ради чего и приходили:

— В Джульфаре ныряльщик без долга — это беглый раб.

Глава 6. Хавала

Купец из Хинда открывал наш мешочек час и десять минут.

Я засёк по тени от мачты. Он сидел на палубе своего корабля под навесом, на чистом ковре, и перед ним лежали весы, костяной пинцет, лупа из полированного горного хрусталя и опись. Наша опись. Узкая полоска, где моей рукой было написано: двадцать восемь штук, круглые, белые с розовым, второе сито, общий вес три мискаля и шесть частей, вода хорошая.

Он срезал печать ножом, аккуратно, чтобы не раскрошить воск. Высыпал жемчуг на тёмную ткань. Пересчитал. Двадцать восемь. Взвесил на своих весах. Три мискаля и шесть частей. Потом стал брать по одной.

Корабль стоял у пристани с конца лета. Большой, двухмачтовый, с высокой кормой, расписанной синим и красным. Пахло на нём не рыбой, а перцем и сандалом. Купцу было лет пятьдесят. Серьга в правом ухе, белые одежды, мягкий голос и холодные глаза. Говорил он на нашем языке хорошо, но медленно, подбирая слова, как подбирают жемчуг по ситу.

Двадцать восьмую жемчужину он держал дольше всех. Вертел, подносил к хрустально. Потом положил к остальным.

— Одна чуть желтее, — сказал он.

— Какая?

Он показал. Я посмотрел. Не видел. Потом увидел. Чуть-чуть, на волос, если смотреть против солнца.

— Двойная цена, — сказал я. — Как написано в описи. Одна жемчужина не по сорту — дом возвращает вдвое.

Купец поднял на меня глаза. Холодные, внимательные.

— Ты вернёшь мне двойную цену за одну жемчужину, которую я нашёл за час?

— Верну.

— Сколько?

Я назвал. Это было почти ничего, полдинара. Он отсчитал бы его не глядя. Он не взял.

— Нет, — сказал он. — Оставь. Мне не нужны твои полдинара. Мне нужно было знать, вернёшь ты или нет.

Он смахнул жемчуг обратно в мешочек и отложил его в сторону.

— Сколько у тебя таких?

— Ещё восемнадцать. Разных сортов. Опись на каждом.

— Я возьму их, — сказал он. — Не открывая. Цена — как у Хумейда на берегу и ещё шестая часть сверху.

— Ещё половина сверху.

— Четверть.

— Треть, — сказал я. — За то, что вы не сидите над ними неделю. Ваш корабль уходит с первым зимним ветром. Это через месяц. Хумейд будет показывать вам по одной жемчужине до самого ветра.

Купец посмотрел на меня, потом на мешочек с срезанной печатью. Потом засмеялся. Тихо, одними глазами.

— Треть, — сказал он. — Но печать должна быть всегда одна и та же. Если я однажды увижу другую, я больше не куплю у вас ни одного зерна.

* * *

Девятнадцать лотов ушли ему за пятьсот девяносто динаров.

Это был весь осенний жемчуг дома, кроме двенадцати лучших мешочков. За три недели короткого выхода я купил на банках и у нахуд, которые тайком продавали своё, на пятьсот

шестьдесят. Девятнадцать лотов из них стоили нам триста сорок. Двести пятьдесят сверху. За месяц.

Мои три чёрные жемчужины ушли в том же счёте отдельной строкой. Купец взял их и сказал, что в Хинде за чёрный платят хорошо. Дал девятнадцать динаров. Я купил их у Хумейда за пять динаров и восемь дирхамов.

Хумейд не врал. Старым и богатым врать дорого.

Двенадцать лучших лотов я не продал. Их можно было продать в Сурате вдвое. Вопрос был в том, как туда доставить жемчуг и как вернуть оттуда деньги.

Жемчуг — товар лёгкий. Двенадцать мешочков помещались в один кожаный кошель величиной с кулак. Его мог отвезти любой купец, которому доверяешь. Хуже было с деньгами. Семьсот, восемьсот динаров золотом — это вес. Килограммов три. Их надо везти назад через море, через пиратов, через шторм, через таможду султана. Морем против ветра, а ветер дует назад только летом.

Летом деньги нужны здесь. На аванс, на лодки, на выкуп долгов. Летом их здесь не будет.

В Москве эта задача решалась одной строкой в банковском приложении. Здесь банков не было.

Здесь была хавала.

* * *

— Ты отдаёшь мне деньги здесь, — сказал Джума. — Мой человек в Сурате отдаёт их там. Золото по морю не плывёт.

Мы сидели в его каменной лавке. Дверь была открыта, и с пристани тянуло рыбой и смолой. Джума говорил медленно, как объясняют простое человеку, который спрашивает о сложном.

— А как он узнает, кому отдать?

— По слову. — Джума взял полоску бумаги и разорвал её пополам. Неровно, зубчиками. — Половину я отдаю тебе. Вторая уходит к моему человеку в Сурат с кораблём. Ты отдаёшь свою половину тому, кому нужно платить. Он приходит к моему человеку, прикладывает свою половину к его половине. Зубчики сошлись — деньги его. Не сошлись — пусть идёт к другому меняле.

— А если половина потеряется?

— Тогда слово. Ты называешь мне слово, я пишу его в книгу. Мой человек в Сурате знает это слово. Тот, кто придёт с этим словом, получит деньги. Слово знают трое: ты, я и он. — Джума пожал плечами. — Как в торговле. Чем меньше знают, тем дороже.

— А сколько ты берёшь?

— Пятьдесят дирхамов с сотни динаров. Половину динара с десяти.

Я посчитал. Половина от одного процента. Банки в моей первой жизни брали за перевод за границу в три раза больше и ещё обижались, когда их спрашивали, куда идут деньги.

— А как ты отдаёшь долг своему человеку в Сурате? — спросил я. — Ты принял моё золото здесь. Он отдал своё там. Его золото должно вернуться к нему.

Джума посмотрел на меня с интересом. С таким интересом смотрит меняла на клиента, который задаёт вопрос, за который можно было бы взять отдельную плату.

— Не должно, — сказал он. — Купцы из Хинда привозят сюда рис, ткани, перец. Им платят здесь, золотом. Они отдают это золото мне и получают по моему слову в Сурате. Отсюда золото идёт туда, оттуда — сюда. В конце года мы с ним сводим книги. Разница — маленькая. Её возят раз в год. Или не возят вовсе, а пишут на следующий год.

Это был корреспондентский счёт. Взаимозачёт. Клиринг. Его придумали здесь без меня, без слов и без банков, задолго до того, как у меня появились слова для этого. Банк без здания. Без вывески. Без бумаг, кроме узких книг менял и рваных полосок с зубчиками.

И держалось всё это на одном. На том, что менялы верят друг другу.

— А если твой человек в Сурате однажды не заплатит?

— Тогда я больше ни разу не дам ему ни одного слова, — сказал Джума. — И никто на берегу не даст. И в Хинде не даст. Он умрёт нищим. Поэтому он платит.

— А ты?

— А я плачу, потому что хочу умереть богатым.

Он засмеялся. Беззвучно, одними плечами.

* * *

Деньги дома я через Джуму отправлять не стал. Не все.

Человек, который за два динара продал моё имя Хафизу, а за три — дом Хафиза людям эмира, мог продать и слово. Не потому что он злой. Потому что он меняла. Продавать — его работа, а информация на этом берегу — такой же товар, как жемчуг. Только легче.

Мне нужны были другие менялы. Два. Чтобы ни один не знал общей суммы.

Второго я нашёл на рыночном берегу, через три лавки от мечети. Его лавка была меньше, чем у Джумы, но дверь у неё тоже была деревянная и с замком. Внутри пахло сандалом и чем-то сладким, вроде благовонной смолы. Медные весы. Ковёр. На полке — маленькая медная фигурка, перед которой стояла плошка с цветами. Я на неё не смотрел. Чужая вера — не мой товар.

Меняла был из Хинда. Банья, как здесь их звали. Худой, смуглый, с бритой головой и тонкой косичкой на затылке, в белом. Звали его Нарандас. Он жил в Джульфаре двенадцать лет, не ел ни мяса, ни рыбы, говорил на нашем языке лучше купца с серьгой и считал быстрее Джумы.

— Двенадцать мешочков, — сказал я. — Под печатью. Они уйдут в Сурат с кораблём, который стоит у пристани. Там их продадут. Деньги мне нужны здесь.

— Когда?

— Сейчас. Хотя бы часть.

Нарандас взял один мешочек, взвесил на ладони, посмотрел на печать. Длинная лодка под словом.

— Я дам тебе шестую часть сейчас, — сказал он. — Ещё треть — когда мой брат в Сурате напишет, что жемчуг пришёл. Остальное — когда продаст.

— Половину сейчас.

— Третью сейчас. — Он положил мешочек обратно. — Если корабль утонет, я потеряю свою треть. Ты — всё остальное.

— Третью сейчас, — согласился я. — Кто продаёт в Сурате?

— Мой брат продаёт через дом Шета Рамдаса. Самый большой меняла Сурата. Самый большой купец. Через него идёт половина жемчуга, который приходит в Хинд с этого берега. — Нарандас чуть улыбнулся. — Он друг всех. Он даже друг тех, кто друг друг другу враг.

Я записал имя. Шет Рамдас. Отметил: человек, который друг всем, — это человек, у которого есть книги на всех.

— И ещё, — сказал Нарандас, когда я уже вставал. — Печать у вас одна?

— Одна.

— Хорошо. Купец с серьгой сказал вчера, что будет брать ваш жемчуг, пока печать одна. Если он так сказал, так скажут и другие. Купцы из Хинда держатся друг за друга, как пальцы на руке.

Вчера купец с серьгой сказал это мне на палубе своего корабля, при двух слугах и при мне. Сегодня утром это знал меняла через три лавки от мечети. Я отметил и это. На этом берегу новость шла от корабля до менялы быстрее, чем человек проходит пристань.

* * *

Двенадцать лотов дома Нарандас оценил в Сурате в шестьсот пятьдесят. Третью он выдал сразу — двести семнадцать динаров. Это было больше, чем я купил этот жемчуг. Остальное придёт весной с кораблями, по слову.

Слово для дома назвал Хафиз. Вечером, у доски, когда я рассказал ему всё.

Он слушал долго, не перебивая. Пальцы с чернильными пятнами лежали на краю доски неподвижно. Когда я кончил, он взял полоску, на которой я написал для него схему: Джульфар, Сурат, менялы, слово, зачёт раз в год. Повертел её.

— Казна эмира, — сказал он, — каждый год платила купцам в Ратме за рис. Золотом. Везли его на верблюдах под охраной. Двадцать человек, двенадцать дней. Каждый третий караван грабили. — Он положил полоску. — А менялы, значит, всё это время передавали деньги словом. Мимо казны.

— Мимо всех.

— Тогда менялы знают о деньгах на берегу больше, чем шейх.

— Больше, чем шейх, Ибн Ханзаль и мы вместе, — сказал я. — Каждый перевод — запись. Каждая запись — сведение. Кто, кому, сколько, когда. Менялы держат книгу всего берега. Только эта книга разорвана на куски, и у каждого свой кусок.

— Пока они не сложат куски.

— Пока не сложат, — согласился я.

Хафиз помолчал. Потом подумал секунду и сказал одно слово. Слово для дома, по которому Нарандас в Сурате узнает, что деньги наши. Я его записывать не буду. Нарандас записал его в свою книгу. Я записал в свою.

Хафиз записал в свою.

— Слово знает дом, — сказал он. — Дом — это я. Деньги держу я, ты помнишь.

— Помню.

— Тогда вот ещё что. — Он не поднял глаз. — Если мне когда-нибудь понадобится узнать, сколько у тебя своих, я спрошу у менял. Не у тебя. Так будет честнее для нас обоих.

Он сказал это так же, как говорил о ценах на рис. Я кивнул. Так же.

Через двадцать дней подул первый зимний ветер. С северо-востока, сухой, ровный, после месяцев влажной духоты почти холодный. Двадцать четыре градуса в полдень. Люди на берегу выходили из хижин и подставляли ему лица.

Корабль с серьгой ушёл на третий день ветра, утром. Я стоял на пристани и смотрел, как поднимают паруса. Два косых крыла, сначала одно, потом другое. Корабль развернулся носом к выходу из протоки, мимо крепости шейха, и пошёл, кренясь, к открытому морю. Две недели до Сурата, если ветер не переменится.

В трюме, в кожаном кошеле величиной с кулак, плыли двенадцать мешочков под длинной лодкой. Шестьсот пятьдесят динаров по цене Сурата, если всё будет так, как сказал Нарандас.

Золото назад не поплывёт. Назад поплывёт слово.

Теперь о своих деньгах.

По нашему уговору мне принадлежали две пятых прибыли. С девятнадцати проданных лотов прибыль была двести пятьдесят. Моих — сто. Если двенадцать лотов в Сурате продадутся, как сказал Нарандас, прибыль с них будет четыреста тридцать. Моих — сто семьдесят два. Пока на бумаге. Плюс девятнадцать за чёрные жемчужины. Плюс то, с чем я сел к доске.

Около четырёхсот. Если считать то, что ещё плывёт.

Два с половиной месяца назад у меня было сто, и я чинил дырявую сеть на перевёрнутой лодке.

Я разложил их на три имени.

Хасан остался у Джумы. Двадцать динаров лежали там с лета. Я добавил двадцать. Сорок — это сумма, о которой Джума может знать и рассказывать кому угодно. Хромой Хасан из песков держит у менялы сорок. Это бедно и честно.

Салим лёг к Нарандасу. Сто двадцать золотом и моя доля в двенадцати лотах, которые плывут в Сурат. Салим — это моё имя на берегу, имя управляющего. Деньги управляющего лежат у менялы, через которого идёт жемчуг дома. Это логично. Логичное не запоминают.

Третьего менялу я нашёл на рыбном ряду. Старик по имени Рашид. Маленькая лавка без вывески, с дверью, обитой медными гвоздями. Рашид был немногословен и брал только золото, серебра не брал вовсе. Никто не знал, зачем ему золото, и никто не спрашивал.

Я положил перед ним тридцать семь динаров.

— Имя?

— Мансур.

Рашид записал в книгу. Не поднял глаз. Мансуров на берегу было не меньше, чем Хасанов. Имя значило победоносный, и родители любят давать сыновьям имена, которые обещают победу. Чаще всего зря.

Тридцать семь. Неровная сумма. Я выбрал её нарочно. Если когда-нибудь Хафиз захочет узнать, сколько у меня денег, он будет искать имя, которое знает. Мансур. И найдёт самую маленькую из трёх кучек. Пусть думает, что я беден. Бедному компаньону доверяют больше.

В поясе под циновкой у вдовы оставалось десять золотом и семнадцать жемчужин Джафара. Этот запас я не трогал. Он был не для жизни, а для бегства.

* * *

Вечером я сидел на пороге хижины и смотрел на протоку.

Год с лишним назад, когда я вышел из сердца песков к колодцу Хаджара, у меня был простой план. Купить дом за глухой стеной. Нанять повара. Разложить деньги по двум-трём людям, чтобы общей суммы не знал никто. Жить на процент.

Дома за глухой стеной у меня не было. Повара тоже. Процента на этом берегу, как и в Хаджаре, не было вовсе: рост запрещён верой. А деньги были разложены. По трём людям, на три имени. Через год и через одну смерть, которую я сам себе устроил, я сделал из всего плана один пункт. Самый скучный.

Это был хороший пункт. В нём не было ничего, что могло бы меня выдать.

Так я думал до следующего утра.

* * *

Утром я пошёл к Джуме взять два динара на рис и масло.

Он открыл железный ящик, отсчитал монеты. Потом, как в прошлый раз, не сразу отдал. Держал на ладони и смотрел на меня. Спокойно. Как всегда.

— Хасан, — сказал он. — Можно совет? Бесплатно.

— Бесплатный совет — самый дорогой.

— Этот — нет. — Джума положил монеты мне в ладонь. — Тридцать семь динаров у Рашида на имя Мансур — неудобная сумма. Неровные суммы запоминают. Если хочешь, чтобы о деньгах забыли, клади круглые.

Он улыбнулся. Спокойно, по-дружески, как улыбаются, давая совет.

Я сказал ему спасибо. Сказал, что не понимаю, о каком Мансуре он говорит. Он сказал, что, конечно, не понимаю, и пожелал мне хорошего дня.

Я вышел из лавки и встал в тени у стены мечети.

Хасана я дал ему сам. Летом, в его лавке, с двадцатью динарами на столе. Мансура я дал Рашиду вчера, на рыбном ряду, где нас никто не видел. Рашид не поднял глаз от книги. Рашид не говорил ни с кем.

Значит, говорил кто-то другой. Либо менялы на этом берегу показывают друг другу свои книги. Либо имя Мансур Джума знал раньше, чем я положил тридцать семь динаров. И знал от того, кто называет меня этим именем каждый вечер.

Джума знал два имени из трёх.

Должен был знать одно.

Глава 7. Зима

Зима на берегу пришла с севера, ветром.

Он дул три дня подряд, ровно, сухо, с песком из-за протоки. Мангры шумели, лодки на катках поскрипывали, листья на крышах хижин шуршали, как бумага. Днём было двадцать три градуса, ночью четырнадцать. Люди, которые летом спали на крышах голыми, теперь кутались в шерсть и жаловались на холод. Я спал под одним одеялом и не жаловался. После сорока пяти в тени Хаджара и сорока в мокрой жаре здешнего лета четырнадцать градусов были не холодом. Они были отдыхом.

Море остыло до двадцати двух. Я всё равно плавал на рассвете, теперь до сломанной сваи восемь раз. Отжимался сорок восемь. На сорок девятом руки начинали спорить, но уже не побеждали.

Зима на этом берегу была временем риса.

* * *

У большого дома из серого камня с утра стояли женщины.

Не мужчины, как осенью, — женщины. В чёрном, с пустыми мешками на плечах, с детьми за руку. Мужья спали после выхода или чинили сети, а за зимним рисом ходили жёны. Так было заведено. Мужчина приносит долг летом. Женщина берёт его зимой.

Хашим сидел под навесом с книгой. Рядом стоял человек с весами и два мальчика у мешков. Женщина называла имя мужа, Хашим находил страницу. Мальчики насыпали рис. Хашим писал.

Я встал у харчевни напротив и считал, как осенью.

Мешок риса на рынке у пристани стоил двенадцать дирхамов. Хороший, привозной, из Хинда. Женщины уносили мешки поменьше, на треть, и Хашим записывал за каждый по семь. Мешок, значит, по двадцать один. Финики — так же. Ткань — так же. Каждая женщина уносила на спине долг, который был почти вдвое тяжелее риса.

Это называлось салаф. Зимний аванс. Без него семьи ныряльщиков не дожили бы до лета. С ним — дожили бы. И летом мужья отдали бы всё, что поднимут, за рис, который съели их дети.

Женщины знали цену на рынке. Каждая. Ни одна не спорила. Спорят, когда есть куда уйти.

* * *

Мы с Хафизом закупили рис ещё осенью. Триста мешков у купца с серьгой, перед самым уходом его корабля, оптом, по девять дирхамов. Купцу было выгоднее продать здесь, чем везти назад. Рис лежал у нас в кладовой и в сарае за домом, под пальмовыми листьями, и пах пылью и сеном.

Раздавать я решил не у дома, а у мечети на старом берегу. На виду. На этом берегу всё делалось на виду или не делалось вовсе.

Первыми пришли жёны Обейдовых людей. Четырнадцать женщин. Потом жена Марзука. Её не было, она умерла три зимы назад, и за рисом пришёл Наиф с отцовским мешком на плече. Мешок был больше мальчишки.

— Сколько запишешь? — спросил он сразу. Ему было восемь, и он уже знал, что спрашивать надо до того, как насыплют.

— Двенадцать дирхамов за мешок, — сказал я. — Как на рынке. Летом вычтем из трети твоего отца. Если отец утонет, долг утонет с ним. На тебя не перейдёт.

Наиф подумал. Не притворно, по-настоящему, как думают над ценой.

— А если ты обманешь?

— Тогда приходи к имаму, — сказал я. — Он всё слышал.

Имам стоял рядом, маленький, сухой, в белом, и смотрел на мешки. Он кивнул. Наиф кивнул тоже и подставил мешок.

К полудню у мечети стояли не только наши. Женщины с рыночного берега. Жёны ныряльщиков, чьи мужья были записаны у мелких хозяев. Две, которых я видел утром в очереди у большого дома. Они стояли в стороне и ничего не просили. Они смотрели, как насыпают рис и что пишут. Потом ушли. Обе одновременно, не сговариваясь.

К вечеру об этом знал весь берег. Двенадцать дирхамов вместо двадцати одного. И долг, который умирает вместе с человеком.

* * *

Мужчины пришли через неделю.

Не к мечети. К калитке дома у протоки, как осенью. Только теперь не восемь, а сорок. И не по одному. Они пришли лодками.

У мелких хозяев долги покупались просто. Хозяину лодки зимой нужны деньги, чтобы раздать свой рис. Денег у него нет. Есть книга, а в книге — люди, которые отдадут летом, если не утонут. Я приходил и предлагал золото сейчас за долги, которые он соберёт через год. Две трети цены. Иногда три четверти, если ныряльщик был хороший. Хозяева торговались, вздыхали и брали. Синица в руке на этом берегу стояла дороже журавля в море.

С людьми Ибн Ханзаль было сложнее. Ибн Ханзаль долгов не продавал.

Но у закона была дырка. Я нашёл её через имама, а имам — через кади шейха, старика, который сидел по четвергам в крепости и судил споры о лодках, сетях и наследствах. Долг, который тебе возвращают, отказаться принять нельзя. Хозяин может не продавать долг чужому. Но если должник приходит сам, с деньгами, при свидетелях, хозяин обязан взять и вычеркнуть.

Деньги у должника были наши. Аванс. Без роста, без пени, без сына. Вернёт летом из своей трети.

Первым пошёл Салех. Двадцать восемь лет, плечи как у Бишра, лучший ныряльщик южной банки у Ибн Ханзаль. Должен тридцать три. Я сам дал ему тридцать три динара. Он держал их в кулаке всю дорогу через протоку и не разжимал.

У большого дома он высыпал их на книгу Хашима. Перед кади, перед имамом, перед двумя старыми нахудами, перед полусотней зевак.

Хашим смотрел на золото долго. Так смотрят на змею, которая залезла в мешок с рисом.

— Хозяин не продаёт долги, — сказал он.

— Он не продаёт, — сказал кади. — Он получает. Долг вернули. Вычеркни.

Хашим вычеркнул. Медленно, как режут себе палец. Салех забрал свой лист, сложил его вчетверо и сунул за пазуху. Потом повернулся к толпе и ничего не сказал. Говорить было не нужно.

С крыши большого дома смотрел маленький сухой старик в белом. Я поднял голову. Ибн Ханзаль улыбнулся мне. Мелкие ровные зубы, как у ребёнка. Потом ушёл с крыши.

* * *

К середине зимы от Ибн Ханзаль ушли тридцать один человек.

Не больше. Я не мог купить больше, а он не мог помешать меньшему. Тридцать один из полутора тысяч. Капля. Но я выбирал. Я покупал не всех подряд, а тех, кого называли сами ныряльщики, когда я спрашивал: кто у вас лучший? Лучший на южной банке. Лучший на глубине. Самый долгий под водой. Тот, у кого чутьё на крупную раковину.

Тридцать один лучший. Полторы тысячи, из которых вынули верхний слой.

Хашим, говорили, стал записывать рис за новый мешок не по семь, а по восемь. Чтобы следующим было дороже уйти. Это была ошибка. Чем дороже уйти, тем больше хочется.

Хафиз считал каждый вечер. Выкуп долгов у мелких хозяев — двести девяносто. Авансы на выкуп у Ибн Ханзаль — пятьсот десять. Рис — около двухсот семидесяти. Три лодки у

хозяев, которые не смогли раздать свой рис и продали лодки, чтобы не продавать людей, — пятьсот двадцать. Вместе с Обейдовыми осенними долгами — почти тысяча восемьсот.

— Вся казна, — сказал Хафиз.

— Вся твоя казна, — поправил я. — Сверху — то, что мы заработали осенью. И то, что плывёт из Сурата.

— Плывёт, — повторил Хафиз. — Ты знаешь, сколько раз в книгах казны эмира за словом плывёт стояло слово утонуло?

— Сколько?

— Я перестал считать.

Он записал всё на полоску. Против суммы опять написал своё слово: вложено. Только рука на этот раз двигалась медленнее.

Три лодки стояли на катках выше по протоке, у старой пальмы. Пятнадцать метров каждая, одна мачта, высокая корма. Одну мы купили вместе с нахудой. Его звали Халфан, сорок лет, двадцать из них он ходил помощником у Обейда, а потом завёл свою лодку и разорился на зимнем рисе. Две другие — без нахуд. Нахуд я искал среди тех, кто ходил помощником и знал банки. Нашёл одного. Второго искал до весны.

Лодки без людей — это дрова. Люди без лодок — это нищие. Я соединял одно с другим, как соединяют на рынке продавца и покупателя, и брал за это не комиссию, а будущий улов.

* * *

Свои лоты я собирал ночами.

Каждый нахуда на этом берегу, даже самый честный, держит при себе горсть. Несколько жемчужин, которые не показал хозяину. На чёрный день, на свадьбу дочери, на лекаря. Хозяева об этом знают и делают вид, что не знают. Так дешевле, чем обыскивать.

Зимой чёрный день приходит к каждому. Рис дорожает, хозяин записывает за мешок по восемь, а горсть лежит в тряпке под циновкой и ничего не ест.

Они приходили к моей хижине у вдовы после вечерней молитвы. По одному. Нахуды Ибн Ханзалья, двое мелких хозяев, один помощник нахуды. Садились на порог, разворачивали тряпку на колене, при свете лампы. Я смотрел, взвешивал на своих весах и называл цену. Честную, как у Хумейда, без четверти сверху за дорогу. Они брали и уходили, не прощаясь. Здесь не прощаются с человеком, которого завтра не узнают на пристани.

Платил я своим. По договору это было моё право: свой жемчуг, на свои деньги, под общей печатью. За зиму ушло сто сорок динаров. Шесть мешочков, запечатанных моей рукой, с моими описями. Они легли в Сурат с последним кораблём из Хинда, который уходил в конце зимы, к брату Нарандаса, под слово Салима.

Если в Сурате дадут, как за прошлые, это будет триста пятьдесят. Двести десять сверху. Мои.

Хафиз знал о каждом мешочке. Я сам вписывал их в общую книгу отдельной строкой, как велел договор. Он ни разу не спросил, у кого я покупал. Мы оба понимали, у кого. Нахуда, который тайком продаёт хозяйскую горсть управляющему Малика, к лету будет смотреть на Малика так, как ныряльщик смотрит на подъёмщика. С надеждой.

* * *

Обейд готовил лодку к лету уже с середины зимы.

Лодка стояла на катках у нашего берега, ниже по протоке, у мангров. Старик возился с ней каждый день. Скоблили днище, конопатили швы паклей с жиром, мазали чёрной смесью рыбьего жира и смолы. Смолу грели в глиняном горшке на маленьком костре в двадцати шагах от лодки. Ближе нельзя: смола горит, как масло. Это знал на берегу каждый мальчишка.

Спал Обейд на корме, под навесом из старого паруса. Так он спал каждую зиму сорок лет.

— Зимой лодка — мой дом, — сказал он, когда я пришёл посмотреть. — Летом я её дом. Так честно.

— Тебе бы в хижину. Ночью четырнадцать градусов.

— Мне шестьдесят восемь, управляющий. — Он поскрёб ногтем шов. — В шестьдесят восемь умирают не от холода. Умирают от того, что перестали делать своё.

Марзук сидел на песке у носа и плёл новую верёвку для камня. Его камень лежал рядом. Наиф перебирал паклю.

— Новых людей на лодку взял? — спросил я.

— Шестерых твоих. Из тридцати одного. — Обейд кивнул на дальний край катков, где сидели у костра молодые. — Ханзалевы бывшие. Ныряют хорошо. Боятся плохо. Это у них пройдёт.

— Что пройдёт?

— Боятся плохо. — Обейд поднял на меня глаза, светлые, выцветшие, как у Хумейда. — Сейчас они боятся Ханзалия. Это плохой страх, он мешает нырять. К лету они начнут бояться моря. Это хороший страх. С ним живут долго.

Я оставил ему пять динаров на смолу и паклю. Он взял, не считая. Обейд был единственным человеком на берегу, который брал у меня деньги, не пересчитывая. Он говорил, что в шестьдесят восемь пересчитывать уже некогда.

* * *

Меня разбудили крики.

Глубокая ночь, часа два, если считать по-моему. Луны не было. Вдова за загородкой из пальмовых листьев что-то кричала и стучала в стену. Сквозь щели в листьях пробивался красный свет.

Я вышел.

Ниже по протоке, у мангров, горел огонь. Высокий, ровный, жёлто-красный, с чёрным дымом, который ветер гнал над водой к морю. Огонь стоял над катками. Над тем местом, где стояла лодка Обейда.

Я побежал. Насколько может бежать человек с левой ногой, которая после сна не гнётся. Метров четыреста. По песку, мимо хижин, мимо людей, которые выскакивали из дверей с кувшинами и ведрами.

Когда я добежал, лодка горела вся. От носа до кормы. Просмолённое днище горело, как факел, обмазанный жиром. Пламя поднималось метров на шесть, и жар не давал подойти ближе десяти шагов. Мачта стояла внутри огня чёрная, прямая, как палец. Навес на корме уже сгорел.

Люди бросали воду из кувшинов. Вода шипела и ничего не меняла. Кто-то тащил мокрую сеть. Кто-то кричал имя: Обейд, Обейд. Тот, кого звали, не отвечал.

У самого жара, ближе всех, стоял Марзук. Он не слышал криков. Он видел свет. Рубаха на нём дымилась, борода с одной стороны обгорела. Он дважды пытался подойти к корме, и дважды его отбрасывало жаром, как волной. Наиф висел у него на руке и тянул назад.

Потом мачта упала. Внутрь, в корму. Вверх взлетели искры, тысячи, и ветер понёс их к манграм. Марзук остановился.

Он постоял. Потом сел на песок, прямо там, где стоял. Наиф сел рядом.

* * *

К рассвету от лодки остались катки, обугленный киль и угли.

Обейда нашли у кормы. Вернее, то, что от него осталось. Ныряльщики завернули его в мокрый парус. Имам прочитал молитву над тем, что было в парусе. Похоронили его до полудня, у мечети на нашем берегу.

На берегу говорили одно. Старик грел смолу ночью, задремал, огонь перешёл на лодку. Смола горит, как масло. Это знает каждый мальчишка.

Я пошёл смотреть сам, когда угли остыли.

Глиняный горшок со смолой стоял там, где стоял всегда. В двадцати шагах от катков. Костёр под ним был старый, вчерашний, зола холодная и слежавшаяся, сверху присыпанная ночной росой. Между горшком и лодкой лежал песок. Чистый. Ни одного следа огня.

Огонь начался у носа. С другой стороны от горшка. Нос выгорел глубже всего, до самого киля, и песок под ним был чёрным и жирным. Я присел и потёр песок пальцами. Понюхал. Пахло не смолой. Ламповым маслом.

Масло наливают в лампы. В лодку его не льют.

Хафиз выслушал вечером. Он сидел у доски, но фигур не расставлял.

— Ибн Ханзаль, — сказал он.

— Ибн Ханзаль. Его рукой, не его руками.

— Это послание.

— Это послание, — согласился я. — Первому нахуде, который сжёг долги своих людей. Первой свободной лодке. Чтобы второй нахуда подумал, прежде чем жечь.

— Что мы потеряли?

Я посчитал. Лодка Обейда — около двухсот, хотя она была не наша, а его. Авансы его людям — наши, около шестидесяти, но люди живы и вернут из трети на другой лодке. Сам Обейд.

Обейд в моей книге не стоял ни одной цифрой. Он брал деньги, не пересчитывая.

— Двести, — сказал я. — И нахуда, за которым пошли бы другие.

Хафиз помолчал.

— Ты будешь отвечать? — спросил он.

— Я буду считать.

* * *

Бишр пришёл на рассвете следующего дня.

Последние недели он сторожил наши три лодки на катках, выше по протоке, у старой пальмы. Днём спал, ночью сидел у лодок. Динар в месяц. Он не был у Обейдовой лодки в ту ночь. Обейдова лодка была не наша.

Он постучал в калитку дома у протоки. Карим открыл, отшатнулся, позвал меня. Я спал в ту ночь у Хафиза, в меджлисе, на подушках, потому что считали мы до утра.

Бишр стоял у калитки, в мокрой до пояса рубаше, с илом на ногах. Через плечо у него, как мешок с рисом, висел человек. Связанный по рукам и ногам верёвкой для лодочных камней. Худой, жилистый, лет двадцати пяти, со ссадиной через всё лицо и кляпом из тряпки во рту. Глаза у него были открыты. Он смотрел на меня снизу, из-под руки Бишра, и не моргал.

— Бежал от огня, — сказал Бишр. — В мангры. Позапрошлой ночью. Я видел свет и пошёл. Он сидел в корнях до сегодня. Ждал лодку.

— Почему ты не привёл его вчера?

— Ждал, кто за ним придёт. — Бишр пожал свободным плечом. — Никто не пришёл.

Он снял человека с плеча и положил на землю у моих ног. Аккуратно, как кладут вещь, за которую ещё не заплатили.

— Живой, — сказал Бишр.

Глава 8. Хаджар

Его звали Матар.

Он сказал это сам, когда Бишр вынул у него изо рта тряпку. Сказал хрипло, сплюнув на пол кладовой кровь из разбитой губы. Матар, сын Хумайда. Подъёмщик. Двадцать пять лет. Должен Ибн Ханзалию двадцать шесть.

Мы держали его в кладовой у лестницы. Той самой, с засовом снаружи. Внутри было четыре шага на пять, без окна. У дальней стены — сундук, кожаные мешки с рисом, кувшины с лодочным жиром. У ближней лежали в ряд камни для новых ныряльщиков. Двадцать штук, серые, гладкие, с петлями. Мы купили их зимой у каменщика с рыбного ряда, по два дирхама за камень.

Матар сидел на полу спиной к мешкам. Руки связаны сзади. Ноги свободны: Бишр развязал их, чтобы он мог сидеть. Бишр стоял у двери, и дверь от этого казалась меньше.

Я сел напротив, на перевёрнутый кувшин. Лампу поставил между нами, на пол. Так, чтобы свет падал на его лицо, а не на моё.

— Кто тебе заплатил? — спросил я.

Он молчал.

Я не повторил вопроса. Я ждал. Это самое дешёвое средство на переговорах, и самое недооценённое. Человек, которого не торопят, начинает торопить себя сам.

Он продержался минуты три.

— Никто, — сказал он.

— Ламповое масло стоит дирхам за кувшин. У тебя его не было. У подъёмщика, который должен двадцать шесть, лампового масла не бывает. Бывает рыбий жир. Жир горит хуже. Его ты бы взял свой.

Матар смотрел на лампу.

— Масло было в кувшине с синим горлом, — продолжал я. — Кувшин нашли утром в манграх, в двадцати шагах от того места, где ты сидел. Такие кувшины лепит гончар у большого дома из серого камня. Для большого дома.

Это была неправда. Никакого кувшина в манграх никто не нашёл. Но Матар этого не знал. Он помнил, куда бросил кувшин, и помнил, какое у него было горло.

Он облизнул губы. Страх и жадность выглядят одинаково: человек облизывает губы. Страх и правда, как выяснилось, тоже.

— Человек Фахда, — сказал он.

— Имя.

— Не знаю. С перебитым носом. Его зовут Нос. — Матар сглотнул. — Он сказал, вычеркнут десять. Из двадцати шести. И дал три дирхама на масло.

— Он сказал, что старик спит на лодке?

Матар не ответил. Ответил его взгляд. Он ушёл влево, в угол, к камням.

Знал.

* * *

— Что он ещё сказал?

— Сказал, что это от хозяина. Что хозяин велел. Что после первой лодки нахуды перестанут жечь книги.

— А ты?

— А что я. — Матар впервые поднял на меня глаза. В них не было вызова. Была усталость. — Мне двадцать пять. Я должен двадцать шесть. Мой отец утонул должным сорок. Если вычеркнут десять, я буду должен шестнадцать. Это меньше, чем отец.

Он сказал это так, как говорят о погоде. Как Джаббар говорил вдове Сабаха: должен сорок один, значит, сын.

Я встал. Взял лампу. Бишр отодвинулся от двери. Матар смотрел, как я выхожу, и ничего не сказал. Он понял, что разговор был не допросом. Разговор был описью.

Бишр вышел следом. Задвинул засов. Брус в руку толщиной лёг в скобы без звука.

* * *

Хафиз ждал в дальней комнате. Доска стояла расставленной, но он не играл. Перед ним лежали чистые полоски.

— Фахд, — сказал я. — Через человека с перебитым носом. Три дирхама на масло, десять динаров из долга. Знал, что старик спит на корме.

— Ибн Ханзаль?

— Ибн Ханзаль не знает. Так ему удобнее. Фахд сделал, хозяин не велел. Если спросят, хозяин скажет, что племянник горячий. Если не спросят, всё равно получилось.

Хафиз кивнул.

— Что ты будешь делать?

Я сел к доске. Привычка, которую я вывез из Хаджара: думать вслух, раскладывая варианты, как раскладывают товар на прилавке.

— Первое. Отдать шейху. У шейха есть кади, у кади — суд. Матар скажет на суде то, что сказал мне. Нос скажет, что не знает Матара. Фахд скажет, что не знает Носа. Шейх должен Ибн Ханзалью от двух тысяч до пяти. Шейх выслушает, вздохнёт и отпустит Матара за недостатком свидетелей. Или не отпустит, и Матар умрёт в крепости от лихорадки. В обоих случаях Ибн Ханзаль узнает всё, что знаем мы. И узнает, что мы пошли к шейху. Мы покажем ему, что у нас ничего нет, кроме суда, который ему должен.

— Второе.

— Отпустить. Матар пойдёт к Фахду. Расскажет про кладовую, про Бишра, про меня. Про то, что мы знаем Носа. В следующий раз Фахд пришлёт не одного подъёмщика с кувшином, а пятерых. И не к лодке, а сюда.

— Третье.

— Держать здесь. Сколько? Месяц? Год? Человек в кладовой ест, пьёт и кричит. Карим услышит. Мальчишка услышит. Соседи услышат. Через неделю на берегу будут говорить, что купец Малик держит у себя в кладовой подъёмщика Ибн Ханзаль. Это тот же суд, только хуже.

— Четвёртое.

Я помолчал.

— Четвёртое. Ибн Ханзаль послал человека. Человек не вернулся. Ибн Ханзаль не знает, что мы знаем. Не знает, где его человек. Не знает, сказал он что-нибудь или нет. Он будет думать. Он будет думать долго. Человек, который думает, не жжёт лодки.

Хафиз смотрел на меня через лампу. Спокойно, как всегда.

— В Хаджаре ты никого не убивал своими руками, — сказал он. — Ты подводил под смерть. Это разные вещи. Я год смотрел, как ты это делаешь. Ясира — моими людьми. Сына — людьми эмира. Моих всадников — песком. Ты ни разу не держал нож.

— Я и сейчас не буду держать нож.

— Тогда кто?

Ответ был очевиден. Бишр. Бишр стоял за дверью, огромный, тихий, с плечами, в которые упиралась притолока. Бишр сделал бы это за одну плату по окончании и ни разу бы о ней не вспомнил.

Вспомнил бы. Не о Матаре. О цене.

Бишр работал по уговору: динар в месяц и сто в конце. Каждая такая ночь ложилась строкой не в мою книгу, а в его. Каждая делала его нужнее, а меня — должнее. Я год жил с ним в одном доме в Хаджаре и знал, как он считает. Он считал честно. Честный счёт растёт

так же, как нечестный, только медленнее. Мне не нужно было, чтобы у Бишра на меня была книга толще, чем у меня на него.

Был и другой расчёт. Проще. Чем меньше рук, тем меньше ртов. Карим, мальчишка, гребцы — каждый, кто узнает, становится ещё одним кувшином с ламповым маслом, который где-нибудь однажды найдут в манграх.

— Я, — сказал я.

Хафиз ничего не сказал. Он взял полоску бумаги и не стал на ней писать. Подержал и положил обратно.

— Лодка у пристани, — сказал он наконец. — Моя. Вёсла под настилом.

— Знаю. Ты показывал. Твой запасной выход.

— Он и сейчас запасной, — сказал Хафиз. — Верни её до рассвета.

* * *

Вышли мы за час до полуночи.

Отлив только начался. Протока шла к морю тихо, без ряби, и чёрная вода сама несла лодку. Бишр сидел на вёслах. За зиму он научился грести: медленно, тяжело, с выдохом, но ровно. Плавать он так и не научился. Говорил, что тому, кто не собирается падать в воду, плавать незачем.

Я сидел на корме. Матар лежал на дне, между нами. Связанный по рукам, с тряпкой во рту. Ноги свободны. У его ног лежал камень из кладовой, шесть килограммов, серый, с петлёй. И моток верёвки, какой подъёмщики держат на пальцах.

Луна ещё не взошла. Звёзд было столько, что они отражались в воде, и казалось, мы плывём по небу. Крепость шейха прошла справа чёрной глыбой. На башне горел огонь. Стражник наверху, наверное, спал, а может, смотрел на море. Маленькая лодка без огня в протоке ночью — не повод будить начальника. Рыбаки выходят на ночную рыбу каждую неделю.

За устьем начиналось море. Ветер с севера, шестнадцать градусов. Волна невысокая, сантиметров пятьдесят, но длинная, и лодка пошла на ней вверх-вниз, как на дыхании. Бишр перестал грести на минуту, сглотнул и стал грести снова. Его мучило. Он ничего не сказал.

Мы отошли от устья километра на полтора. Огни Джульфары стали полоской. Я опустил за борт свинцовый грузик на верёвке с узлами. Узлы через каждый рост. Грузик лёг на дно на восьмом узле.

Пятнадцать метров. Как на большой банке.

— Здесь, — сказал я.

Бишр поднял вёсла.

* * *

Я наклонился и надел петлю камня Матару на правую щиколотку. Так, как надевают ныряльщики. Затянул. Потом привязал к той же петле конец верёвки. Матар понял не сразу. Потом понял. Он начал дёргаться, мычать через тряпку, бить ногами по дну. Камень загремел о доски. Бишр положил ему на грудь ладонь, и Матар затих. Не от страха. От веса. Ладонь Бишра весила, как ещё один камень.

Хаджар.

Мастер сказал мне это слово осенью, у своего навеса, и я подумал тогда о городе. Город назывался камнем, потому что стоял на камне посреди песка. Год я жил в нём. Год он тянул меня вниз: эмир, казна, роды, долги, война. Я ушёл оттуда через сердце песков, чтобы больше никогда не слышать этого имени. Оно ждало меня на берегу, с петлёй для ноги.

Я взял верёвку в руки. Так, как держат её подъёмщики. Через ладонь, петлёй на пальцы. Ныряльщик уходит вниз, подъёмщик держит. Ныряльщик дёрнул — подъёмщик тянет. Жизнь ныряльщика у подъёмщика в руках. Так говорил мастер.

— Давай, — сказал я Бишру.

Бишр поднял Матара, как поднимают мешок, и перевалил через борт. Без всплеска, почти. Камень ушёл первым и потянул за собой ногу, а нога — всё остальное. Вода сомкнулась. Верёвка побежала у меня через ладонь, обжигая кожу. Пять метров. Десять. Пятнадцать. Встала. Камень лёг на дно.

На верёвке дёрнулось. Раз. Ещё раз. Сильно, коротко, как дёргает ныряльщик, когда кончается воздух. Сигнал. Тяни.

Я держал верёвку.

Я разжал пальцы.

* * *

Утром я плавал у сломанной сваи. Восемь раз туда и обратно. Вода была холодной, двадцать один градус, и после неё воздух казался тёплым. Потом отжался сорок девять раз на мокром песке. На пятидесятом руки сказали: завтра.

Ладонь болела. Верёвка сняла кожу полосой поперёк, от мизинца до большого пальца. Я обмотал её тряпкой. Хозяин харчевни, ставя передо мной яйца, спросил, что с рукой. Я сказал: лодку вытаскивал, верёвка сорвалась. Он покачал головой и сказал, что с верёвками надо осторожнее. Я согласился.

Яйца были хорошие. Четыре штуки, с тёмным желтком. Двадцать пять граммов белка. Я ел медленно, с солью, и слушал, что говорят за соседним котлом.

Говорили про Обейда. Про то, что смола горит, как масло. Про то, что старому человеку не надо спать на лодке зимой. Потом кто-то сказал, что подъёмщик Матар, сын Хумайда, с Ханзалевой лодки, пропал. Позавчера был, вчера был, сегодня нет. Мать его ходила к Хашиму, Хашим к Фахду, Фахд сказал, что не знает.

Я доел яйца и сказал хозяину харчевни, громко, при соседнем котле, что вчера под утро видел с пристани лодку. Маленькую, без огня. Она шла из протоки к морю. На восток.

— На восток, — повторил хозяин харчевни.

— На восток, — сказал я. — Кто ночью уходит на восток без огня?

За соседним котлом замолчали. Потом кто-то сказал: на острова. Красные острова, два дня на восток. Туда бегут те, кому на берегу оставаться нельзя. Должники, воры. Те, кто сделал что-то, за что на берегу утопят.

К полудню берег знал. Подъёмщик Матар поджёг лодку Обейда и испугался. Испугался, что люди Малика узнают. Взял чужую лодку и ушёл ночью на острова, к Гарибу. Там его и ищите.

Мать Матара плакала у мечети. Ей говорили, что сын жив, что на островах живут, что он вернётся, когда забудут. Она плакала всё равно.

Лодка Хафиза стояла у его пристани. Мокрая, как все лодки. Вёсла лежали под настилом.

* * *

После полудня я увидел Носа.

Не узнать его было нельзя. Нос ему ломали не один раз, и лежал он на лице кривой и сплюснутый, как раздавленный финик. Лет тридцать, плотный, в синей рубахе, с ножом на поясе. Он ходил по пристани от лодочника к лодочнику и спрашивал. Я сидел в тени у харчевни и смотрел.

Лодочник с белыми бровями покачал головой. Второй пожал плечами. Третий долго что-то объяснял и показывал рукой на восток, на выход из протоки. Нос слушал, кивал, спрашивал ещё. Лодочник снова показывал на восток.

Нос постоял, глядя на море. Потом плюнул в воду и пошёл к большому дому из серого камня. Быстро, не оглядываясь.

Слух не знает, кто его пустил. Он знает только, куда идёт. К вечеру он шёл уже без меня, и каждый, кто его повторял, добавлял своё. Лодку без огня видели двое. Потом пятеро. Потом

один рыбак вспомнил, что Матар ещё летом расспрашивал про острова. Рыбак, наверное, и сам в это верил. Люди верят тому, что рассказывают сами.

* * *

Вечером я собрал Обейдовых людей у мечети на нашем берегу.

Двадцать человек. Четырнадцать старых и шесть новых, бывших Ханзалевых. Без нахуды и без лодки. Они сидели на песке кружком и ждали. Так ждут люди, которые месяц назад сожгли свои долги, а теперь не знают, не придётся ли писать их обратно.

— Лодка у вас будет, — сказал я. — Та, что у старой пальмы, с высокой кормой. Нахуда — Халфан. Вы его знаете.

Халфан стоял рядом. Двадцать лет он ходил у Обейда помощником, его знали все. Ныряльщики посмотрели на него, потом друг на друга.

— А правило? — спросил Салех. Он был среди шестерых, что ушли от Ибн Ханзала к Обейду. — Треть?

— Треть. Честный вес. Аванс без сына. Как у Обейда.

— Обейда сожгли за это правило, — сказал кто-то сзади.

— Обейда сожгли, — согласился я. — Правило не горит. Его нельзя облить маслом.

Они помолчали. Потом Салех встал и подошёл к Халфану. За ним поднялись остальные.

Марзук не встал. Он сидел на песке и смотрел на мою правую руку. На тряпку поперёк ладони. Борода у него с одной стороны была ещё короткой и рыжей от огня. Он поднял руки и показал сыну что-то короткое.

— Отец спрашивает, — сказал Наиф, — кто сжёт.

— Тот, кто сжёт, ушёл на острова.

Наиф перевёл. Марзук смотрел мне в лицо долго, как смотрят на воду, проверяя глубину. Потом опустил глаза на мою руку. Потом встал и пошёл к Халфану.

Больше он об этом не спрашивал. Ни в тот вечер, ни потом.

* * *

Через три дня в калитку дома у протоки постучали.

Не Бишр, не мальчишка. Слуга в белом, с подносом, накрытым платком. За ним — второй, с медным кофейником на ремне через плечо, как носят водоносы. Карим долго смотрел на них через щель и позвал меня.

Слуга поклонился. Снял с подноса платок.

Финики. Крупные, тёмные, почти чёрные, с медовым блеском на кожице. Сорт, который на рынке у пристани стоил дирхам за горсть. На подносе их было на два динара. Посредине, в маленькой медной чашке, лежали очищенные зёрна кардамона.

— Хозяин шлёт купцу Малику, — сказал слуга. — Из своего сада. Лучший сорт берега.

— Какой хозяин?

Слуга посмотрел на меня так, будто я спросил, какое на небе солнце.

— Ибн Ханзаль, — сказал он. — Хозяин зовёт купца Малика к себе. На кахву. Завтра, после вечерней молитвы.

Он поставил поднос на камень у калитки и снова поклонился.

— Хозяин сказал: пусть купец приходит без страха. В доме Ибн Ханзала гостей не обижают.

Слуги ушли. Я стоял над подносом и смотрел на финики. Тёмные, блестящие, сладкие. На берегу говорят, что финики из сада Ибн Ханзала самые сладкие на всём Восточном море.

Хафиз вышел из дальней комнаты, посмотрел на поднос и не взял ни одного.

— Он не знает, — сказал Хафиз.

— Он не знает, — согласился я. — Поэтому зовёт.

Глава 9. Шейх

К Ибн Ханзалю я пошёл один.

Хафиз не пошёл. Он сказал это ещё над подносом с финиками, коротко, как говорят о погоде:

— Ты — лицо. Я — кошелёк. Кошелёк к врагам не ходит.

— А если лицу там что-нибудь сделают?

— Тогда кошелёк будет знать, сколько стоит его лицо, — сказал Хафиз. — Это тоже полезно.

Бишра я оставил у ворот большого дома. Он сел на камень у стены, вытянул ноги и стал смотреть на пристань. Люди Ибн Ханзаль, человек пять, стояли у входа и смотрели на него. Бишр на них не смотрел. Это им не нравилось.

* * *

Дом Ибн Ханзаль был самым большим на берегу. Серый морской камень, два этажа, плоская крыша с резным парапетом. Двор, вымощенный плитами, а не утопанный, как у всех. Колодец с медным воротом. Пальмы. В углу двора — навес, под которым сидели писцы. Три писца, каждый со своей книгой. Хашим среди них был старшим.

Меня провели в меджлис. Длинная комната, ковры в три слоя, подушки вдоль стен. Окна выходили на пристань, и с них были видны все лодки на катках, вся протока, вся крепость шейха. С этого места Ибн Ханзаль, наверное, видел каждую лодку, которая выходила на банки. И каждую, которая не возвращалась.

Он сидел у окна. Маленький, сухой, в белом. Перед ним стоял медный кофейник с длинным клювом и блюдо с финиками того же сорта, что мне прислали. Фахд стоял у него за спиной, скрестив руки. Нож на поясе. Взгляд мясника.

— Мир тебе, управляющий, — сказал Ибн Ханзаль. Голос тихий, почти ласковый. — Садись. Хозяин твой не пришёл.

— Хозяин не выходит из дома днём. Он немолод.

— Я тоже немолод. — Ибн Ханзаль улыбнулся мелкими ровными зубами. — Но я выхожу. Иначе люди забывают, как я выгляжу.

Он сам налил кахву. На донышко, как положено. Протянул чашку. Перстни с чёрными жемчужинами стукнули о глину. Я выпил. Кахва была с кардамоном и с чем-то ещё, горьковатым, похожим на шафран. Хорошая. Он налил снова.

— Финики понравились?

— Хозяину понравились, — сказал я. Хафиз не съел ни одного. — Он благодарит.

— Пусть ест на здоровье. — Ибн Ханзаль взял финик себе. Откусил маленький кусок, мелкими зубами, как откусывают дети. — Сорок лет я рашу этот сорт. Сорок лет. Знаешь, как растёт хорошая пальма?

— Медленно.

— Медленно, — согласился он. — Её надо опылять руками. Каждую весну человек лезет наверх и связывает цветы. Без этого фиников не будет. Пальма сама не умеет. — Он положил финик на блюдо. — Берег — как пальма, управляющий. Кто-то должен лезть наверх каждую весну. Сорок лет лезу я.

* * *

Мы поговорили о погоде. О ветре, который в этом году пришёл на неделю раньше. О цене риса. О кораблях из Хинда, которые ушли с первым ветром. Ибн Ханзаль говорил медленно и ни разу не повысил голоса. Фахд за его спиной не шевелился.

Потом Ибн Ханзаль сказал, не меняя тона:

— У меня пропал человек. Подъёмщик. Говорят, сбежал на острова.

— Говорят, — сказал я.

— Я тоже так говорю. — Он кивнул. — Хорошо, когда люди говорят одно и то же. На берегу тогда тихо.

Он снова налил мне кахвы.

— И старика жаль. Обейда. Сорок лет на банках. Смола горит, как масло.

— Ламповое масло горит лучше смолы, — сказал я.

Тишина в меджлисе стала другой. Фахд переступил с ноги на ногу. Ибн Ханзаль посмотрел на меня. Долго, спокойно, тем же ласковым взглядом. Потом улыбнулся.

— Ты знаешь толк в маслах, управляющий.

— Я знаю толк в ценах. Ламповое масло дорогое. Подъёмщику оно не по карману.

— Значит, кто-то дал ему денег. — Ибн Ханзаль развёл руками, и чёрные жемчужины блеснули в свете из окна. — На берегу много людей с деньгами. Есть даже такие, кто раздаёт их ныряльщикам. Чтобы те приходили к Хашиму с золотом и кидали его на книгу.

Он сказал это мягко. Без упрёка. Как сообщают, что ветер переменился.

— Хозяин сделает тебе предложение, — сказал он. — Через меня. Слушай.

Предложение было простое. Ибн Ханзаль покупает у купца Малика всё: три лодки, авансы, долги, которые мы выкупили и не сожгли, рис в кладовой. За всё — тысяча восемьсот. Ровно столько, сколько мы вложили. Сверху — двести. За беспокойство. Купец Малик возвращается в пески, богаче, чем пришёл.

— Или второе, — сказал Ибн Ханзаль. — Купец остаётся. Его лодки ходят на банки, как ходят. Весь улов он продаёт мне. По моей цене. Я честный покупатель, спроси на берегу.

— Я спрашивал, — сказал я.

— Тогда спроси ещё одно. — Ибн Ханзаль наклонился ко мне, совсем немного. — Ты жжёшь долги. Красиво, при имаме, люди плачут. А знаешь, что делает ныряльщик без долга в середине лета, на дальней банке, когда ему надоело? Он уходит. На чужую лодку, где обещают больше. Или домой, к жене. В разгар сезона, с лучшей банки. Долг держит его на верёвке. Ты обрезал верёвку. Кто тебе будет нырять в последний месяц лета, когда вода в полдень как суп?

Вода в последний месяц лета, как я узнал потом, бывала тридцать четыре градуса. В такой воде ныряльщик за день теряет столько, сколько не наест за неделю.

— Тот, кому треть важнее жены, — сказал я.

— Таких мало.

— Мне много не нужно. Мне нужны лучшие.

Ибн Ханзаль откинулся на подушку и посмотрел на меня почти с удовольствием. Так смотрит старый торговец на молодого, который повторяет его собственные ошибки сорокалетней давности.

— И что тебе сказали? — спросил он.

— Что ты покупаешь жемчуг у шейха.

Ибн Ханзаль засмеялся. Тихо, мелко, как смеются старики над хорошей шуткой внука.

— Шейх — мой друг, — сказал он. — Сорок лет. Он брал у меня, когда ему было нужно. Я давал. Друзья так делают.

— Хозяин подумает, — сказал я.

— Пусть думает. — Ибн Ханзаль поднялся, опираясь на руку Фахда. Колени у него хрустнули, как у Обейда. — Только недолго. Зима короткая. Летом думать некогда. Летом надо нырять.

У двери меджлиса он остановился и сказал мне в спину, тем же тихим голосом:

— Ты умный человек, управляющий. Умные люди на этом берегу живут долго. Если знают, кто их друзья.

* * *

Бишр поднялся с камня, когда я вышел за ворота. Люди Ибн Ханзаль у входа смотрели нам вслед.

— Живой, — сказал Бишр.

— Пока.

Он кивнул, как кивают на правильный ответ.

Я шёл по пристани и считал.

Ибн Ханзаль предложил вернуть нам вложенное и двести сверху. Это была не цена. Это была мера. Он показывал, сколько готов заплатить, чтобы нас не стало. Двести динаров за то, чтобы на берегу снова было тихо. Для человека с шестьюдесятью лодками это было дешево. Он мог бы дать и тысячу.

Он не дал тысячу. Значит, он считал, что есть способ дешевле.

Способ дешевле назывался шейх.

Шейх был должен Ибн Ханзалю от двух тысяч до пяти. Шейх продавал Ибн Ханзалю свою пятую часть. Шейх зимой брал у Ибн Ханзаль вперёд. Шейх держал кади, который по четвергам судил споры о лодках и долгах. Одно слово кади — и ныряльщики, которые вернули долги нашим золотом, становились беглыми. Одно слово шейха — и пятая часть с наших лодок становилась третьей. Ещё одно — и наши лодки не выпускали из протоки на день выхода.

Мне нужна была крыша. В Хаджаре крышей был джар рода: старый шейх Ауад взял меня под защиту, и тронуть меня значило оскорбить Сувейдов. Здесь родов не было. Здесь был берег, протока и квадратная крепость с одной башней у входа в неё.

Крыша здесь могла быть только одна. И её уже снимал Ибн Ханзаль. Сорок лет, за долги.

* * *

Меджлис шейха собирался по четвергам. Я пришёл в первый же.

Крепость стояла у самого входа в протоку, на мысу. Квадратная, из серого камня, с одной башней на углу, выходящем к морю. Стены толстые, окна узкие. У ворот — двое с копьями. У крепостной пристани лежали две лодки, каких я на берегу больше не видел. Длинные, узкие, низкие, с гнёздами для двадцати вёсел, по десять на борт. Боевые лодки шейха. На банках, говорили, они появлялись раз в сезон, когда шейх собирал свою пятую часть с дальних лодок. И когда приходили пираты, если шейху было выгодно, чтобы они ушли.

Пока ждал начала, я постоял у крепостной пристани. На корме одной из длинных лодок сидел гребец и чинил уключину. Пожилой, жилистый, со спиной, как у верблюда-водовоза. Я спросил, сколько людей берёт такая лодка.

— Двадцать на вёслах, — сказал он, не поднимая головы. — Двадцать с копьями. Сорок ртов.

— Быстрая?

— В штиль догонит любой парус. — Он подёргал уключину. — В ветер — нет. В ветер парус сам кого хочешь догонит. Поэтому мы выходим в штиль.

— А часто выходите?

Гребец поднял на меня глаза и подумал, стоит ли отвечать чужому.

— Когда шейх велит, — сказал он. — Шейх велит, когда ему платят.

Сорок ртов, два раза в день рис с рыбой. Пять медяков миска. Двадцать дирхамов в день на одну лодку, два динара, только чтобы люди при ней не разбежались. Шейх не выводил их в море просто так. Он выводил их, когда выход окупался.

Меджлис был большой комнатой с колоннами из пальмовых стволов. На коврах сидели человек сорок. Нахуды, рыбаки, купцы, двое старейшин с рыночного берега, вдова в чёрном. Шейх сидел у дальней стены на подушках, грузный, в белом, с огромной седой бородой. Рядом с ним — кади, тот самый старик, что сидел по четвергам. По другую руку — человек с книгой, писец шейха.

Слуга с кофейником ходил по кругу. Сначала шейху. Потом кади. Потом старейшинам. Потом остальным, по старшинству. До меня он дошёл двадцать третьим. Это была справедливая цена управляющего чужого купца на этом берегу. Я выпил и покачал чашкой: хватит.

Шейх разбирал дела быстро и громко. Рыбак жаловался, что сосед поставил сеть поперёк его места у мангров. Шейх выслушал обоих, засмеялся и велел им поставить одну сеть на двоих, а рыбу делить пополам. Оба ушли недовольные. Значит, решение было правильным.

Вдова просила, чтобы деверь отдал ей лодку покойного мужа. Шейх спросил кади. Кади сказал, что лодка — деверю, а вдове — восьмая часть её цены. Шейх велел деверю заплатить при всех. Деверь заплатил. Шейх добавил от себя два дирхама. Вдова ушла, благословляя его, и весь меджлис видел, как он щедр.

Я смотрел и считал. Шейх смеялся на людях всегда. Глаза у него не смеялись ни разу. Они считали. Каждый раз, когда кто-то говорил о деньгах, глаза шейха на миг уходили в сторону, вверх и влево, как у Бишра, когда тот складывает.

Человек, который считает про себя, когда смеётся вслух, — это покупатель. Ему надо продавать. Только не здесь.

* * *

Писец шейха нашёл меня у ворот, когда меджлис кончился.

— Шейх зовёт, — сказал он. — Наверх.

Комната наверху была маленькой. Ковёр, подушки, окно на протоку. Шейх сидел у окна, без кади и без писца. Перед ним стояло блюдо с финиками. Не из сада Ибн Ханзалья. Мелкие, сухие, дешёвые.

— Управляющий купца Малика, — сказал шейх весело. — Салим. Мне говорили, что ты хромаешь. Ты хромаешь.

— Я хромаю, — согласился я.

— Ты пил у Ибн Ханзалья кахву.

— Пил.

— Он предложил тебе тысячу восемьсот и двести сверху. — Шейх подбросил финик и поймал его. — Или продавать ему всё по его цене.

На этом берегу всё знали к утру. Шейх знал к вечеру.

— Твой хозяин согласится? — спросил шейх.

— Нет.

— Почему?

— Потому что хозяин не продаёт то, что только начал.

Шейх засмеялся. Громко, от живота. Потом перестал так же сразу, как начал.

— Тогда слушай меня, — сказал он. — Ваши лодки платят мне пятую часть, как все. Это хорошо. Но вы новые. Вы чужие. Из-за вас на берегу шум. Старика сожгли, подъёмщик сбежал, Ибн Ханзаль каждую неделю присылает мне рыбу и рассказывает, как вы портите людей. Шум стоит денег. За шум с чужих берут больше. Четверть.

Он сказал это легко, весело, как говорят цену на рынке, когда знают, что будут торговаться.

Я не стал торговаться.

— Пятая часть, — сказал я. — Как со всех. Жемчугом, при свидетелях, у весов на пристани. Пусть Ибн Ханзаль видит, что мы платим, как все.

— А я? Что вижу я?

— А ты видишь больше, чем он.

Шейх перестал жевать.

— Пятую часть ты продаёшь Ибн Ханзалью, — сказал я. — По его цене. Потому что больше никто на берегу не купит столько разом. Он платит тебе и говорит, что переплатил. А потом зимой даёт тебе вперёд под следующую. И пишет.

Шейх молчал. Глаза ушли вверх и влево.

— Дом Малика продаёт жемчуг в Хинде, — продолжал я. — Не здесь, на пристани, а там, где он стоит втрое. Лоты под нашей печатью. Купцы из Хинда берут их не глядя. С каждого динара, который дом получит в Хинде, десятая часть — твоя.

— Десятая, — повторил шейх.

— Десятая. Не жемчугом, а золотом. И не здесь.

— А где?

— В Сурате. У менялы, который держит дом Шета Рамдаса. Твоё золото лежит там под словом. Слово знает дом. Когда тебе нужно, твой человек приходит к меняле здесь, на пристани, называет слово и получает золото. Сколько нужно. Когда нужно.

— А Ибн Ханзаль?

— Ибн Ханзаль считает твою пятую часть у весов на пристани. Он знает её до дирхама. Он знает, сколько ты ему должен. — Я пожал плечами. — Золото в Сурате он не видит. Его не взвешивают на пристани. Его нельзя вписать в книгу Хашима против твоего долга.

Шейх долго смотрел в окно. На протоку, на пристань, на большой дом из серого камня за водой.

— Сколько это будет? — спросил он. — За сезон.

— Если сезон будет хороший — восемьсот. Может быть, больше.

Он подумал. Глаза уходили вверх и возвращались, уходили и возвращались.

Восемьсот динаров — это то, что Ибн Ханзаль, наверное, давал ему зимой вперёд. Только эти восемьсот не надо было отдавать летом.

— Деньги, которых не видит тот, кому ты должен, — сказал я тихо, — это единственные деньги, которые по-настоящему твои.

Шейх повернулся от окна.

— Что ты хочешь за это?

— Тишины, — сказал я. — Наши ныряльщики вернули свои долги при твоём кади. Пусть они остаются свободными, а не беглыми. Наши лодки выходят в день выхода, как все. А когда на банках будет шум, пусть твои длинные лодки иногда проходят мимо наших.

— Только иногда?

— Чаше, чем мимо чужих.

Шейх засмеялся. Тихо, в бороду, как смеются над хорошим ходом в шатрандж.

— Тихо, — сказал он. — Чтобы ни одна ворона на пристани не каркнула. Ни писец. Ни кади. Никто.

— Никто, — согласился я.

Он протянул руку и взял с блюда финик. Мелкий, сухой, дешёвый. Съел и выплюнул косточку в ладонь.

— Финики у меня хуже, чем у Ибн Ханзала, — сказал он. — Мои пальмы опыляет тот, кому я плачу. Его — тот, кто ему должен. Должник лезет выше.

* * *

Он проводил меня до лестницы. Это была честь. Шейх на этом берегу никого не провожал до лестницы, кроме Ибн Ханзала. Внизу ждал писец, у ворот ждал Бишр.

На верхней ступеньке шейх положил мне руку на плечо. Тяжёлую, мягкую, пахнущую розовым маслом.

— Станный у вас дом, управляющий, — сказал он весело. — Хозяин и управляющий приносят мне одно и то же. Одними словами. Только хозяин принёс на неделю раньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.